

Владимир Тендряков

Собрание сочинений
в пяти томах



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1988

Владимир Тендряков

Собрание сочинений
том четвертый

ПОВЕСТИ

К 1101278



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1988

ВОЛОГОДСКАЯ
областная библиотека
им. И. В. Бабушкина

pe

ББК 84Р7
Т33

+ ср

Составление, примечания и подготовка текста
Н. Асмоловой-Тевдюковой

Оформление художника
В. Мирошниченко

Т 4702010200—272
028(01)—88 подписное

ISBN 5—280—00157—0

ISBN 5—280—00155—4 (Т. 4)

© Оформление, состав, примечания. Издательство «Художественная литература», 1988 г.

Кончина

Дом отличался от других домов не красотой, не игривостью резных наличников, а тяжеловесной добротностью: кирпичный фундамент излишне высок и массивен, стены обшиты пригнанной шелевкой, оконные переплеты могучи, крыша словно кичится, что на нее пошло много кровельного железа, — в железо упрятаны по пояс трубы, сверху на них красуются грубые жестяные короны, стоки-лотки несоразмерной величины и длины. Добротность дома не просто откровенна, она назойлива и даже чем-то бесстыдна.

Хозяин, который строил этот дом, по-мужицки считал — красиво то, что вечно. Ему самому вечность была не суждена. Сейчас он умирал в этом доме.

Умирал Лыков Евлампий Никитич, знаменитый человек по области, председатель колхоза «Власть труда».

Он был не так уж и стар — на шестьдесят третьем.

Вылезая из машины у скотного на Доровищах, он рухнул на талый мартовский снежок — перекосило рот, тихо мычал, непослушное веко затянуло левый глаз.

Шофер Леха Шаблов провез его по тряской дороге шесть километров, на руках внес в дом. Спешно вызванный главврач районной больницы объявил: «Не транспортабелен».

На следующее утро на лугу за рекой приземлился самолет — из областного города прилетел профессор. Он каких-нибудь полчаса пробыл у постели больного да еще полчаса беседовал с районным начальством — улетел обратно.

И тут-то разнеслась весть — умирает.

Со всех концов большого колхоза — из самого села Пожары, из Доровищ, из Петраковской — потянулись доброхоты под окна лыковского дома. Каждому ясно — жди перемен.

Стояли кучкой у крыльца, смотрели издали, беседовали, внутрь не совались. За дверью днюет и ночует верхний Леха Шаблов, у Лехи рука тяжелая...

Волоча из последних сил подшитые валенки, опираясь на деревянную клюку, с хрипотой и клетотом дыша, пришел старик — потертый трех упал на глаза, полушубок гнет к земле, мотня штанов висит у колен. Он приступом взял крыльцо, ступенька за ступенькой, попробовал открыть запертую дверь, не сумел и обессиленно сел, сразу же впал в дремоту.

В кучке толкущихся доброхотов он вызвал острый интерес:

— Это чтой за моща? Не Альки ли Студенкиной свекер?

— Он и есть! Лет пять не вылезал за порог.

— Эй, дедко Матвей! Ты ль это?

Дед разлепил веки, повел хрящеватым носом:

— Ай?

— Он самый! Что тебя с печки стряхнуло, Жеребый?

— Пийко-то... А?.. Сказывают: помирает.

Кто-то не выдержал, подпустил:

— Не в компанию ль пришел напрашиваться?

— Пийко-то... А? Я вот жив.

И все острословы вспомнили — «вечный председатель» при смерти, какие тут шуточки, — разглядывали старика недоброжелательно, ввел в грех.

А тот сидел: из-под облезлого треху — крючковатый нос, на сизом кончике мутная капля, деревянная клюка поставлена между большими валенками, на клюке отдыхают руки — крупные окаменевшие мослы вдеты в слишком просторную, морщинисто-жесткую кожу. Сидит старый Матвей, глаз не видно из-под шапки — может, спит, может, думает...

Заставив потесниться людей, подкатил «газик». Проворно выскочил из него заместитель Лыкова — Валерий Николаевич Чистых, долговязый, без углов человек — покатые плечи, маленькая голова, болтающиеся бескостные руки. Он почтительно принял костыли, помог вылезть наружу неуклюжему, грузному человеку. И пока тот утверждался на костылях, Чистых суетливо крутился в своем длинном, узком — что плечи, что талия — пальто, гибкий, как лоза под ветром.

У грузного гостя под мерлушковой шапкой старчески отечное, восковое лицо домоседа. Ноги, обутые в белые чesанки, не повиновались. Налегая на костыли,

привычно выкидывая белые чесанки, брезгливо касаясь ими несвежего, затоптанного снега, гость направился к крыльцу и остановился...

На крыльце сидел старик Матвей — дремал или думал, — загоразживал путь.

И Чистых налетел, словно хорек на ворону:

— Ты что тут расселся?.. Эй, как тебя?! Слышишь, марш отсюда!

Старик очнулся, запрокинул голову, взглянул на белый свет из-под треуха и стал с натугой подыматься.

— Давай, давай, шевелись! Торчат тут всякие... Осторожненько, Иван Иванович. Скользко тут, не оступитесь... Ах ты господи! Да не путайся ты, старик, под ногами!

Приехал главный бухгалтер колхоза, соратник Евламбия Лыкова и вторая фигура после знаменитого председателя на селе.

Дверь, до сих пор непроницаемо захлопнутая, распахнулась. На пороге вырос Леха Шаблез — шевелюра выше косяка, красные, лопатами ланищи на весу, в них услужливая готовность: «Только разрешите, внесу на ручках». И внес бы в одной охапке толстого бухгалтера с костылями и длинного, тощего Чистых.

Но Иван Иванович, усердно сопя, сам одолел последнюю ступеньку.

У крыльца, опираясь дрожащими руками на клюку, стоял дед Матвей — в серой свалывшейся шерстке провал беззубого рта, из-под шапки потухший взгляд в широкую, пухлую спину, воющую с костылями.

Иван Иванович перевел дух у дверей, оглянулся назад, на нелегкий для него путь в десяток шагов и пять ступенек, встретился с потухшим взглядом из-под облезлого треуха.

— Эге! Да это же он, — удивился бухгалтер.

— Торчат тут всякие...

— Старый ворон на запах мертвечины...

Деду Матвею, должно быть, стало неловко под взглядами начальства, взиравшего с крыльца, да и стоять не под силу, и сесть снова на ступеньку уже не смел, потому, вяло поправив шапку, повернулся и побрел, с натугой волоча тяжелые валенки, налегая на клюку.

Иван Иванович, расслабленно повиснув на костылях, глядел вслед старику — горбом топорщащийся потертый кожушок, мотня штанов, нависающая над коленками.

Чистых и дюжий Леха Шаблов недоуменно переглядывались друг с другом — чтой это с Иваном Ивановичем, эк, диковинку узрел?..

Нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его. Для Чистых, для Шаблова, почти для всех в селе Пожары первый и единственный пророк — Лыков Евлампий, тот, кто сейчас лежит за стеной. Но самым-то первым колхозным пророком был не Лыков, а дед Матвей. Это помнили немногие. Помнил бухгалтер Иван Слегов.

МАТВЕЙ СТУДЕНКИН — РОДОНАЧАЛЬНИК

Привычно для России: шел солдат с фронта... Шел неспешно и споро, куличьим шагом.

Наверно, он был последний в округе солдат с войны — как-никак стояла осень 1925-го! Все остальные или давно вернулись, или сложили кости в чужих краях. Добирался издалека, с берегов Тихого океана. Сейчас последние шаги — хилые ели да голые березки, и впереди поворот, а там покажутся знакомые крыши... Дома давно устала ждать жена — помнил, как звать, да забыл, как выглядит, — и еще сынишка, родившийся в тот год, когда ушел воевать.

Сзади послышался звон бубенцов. Оглянулся, пришлось посторониться — на рысях шла серая пара. Лошади что близнецы, шеи дугой, крупы в яблоках — лебеди, а не кони! — сбруя с кистями и медными бляхами, спицы и ступицы легкой ковровки крашены ясным суриком. Прошли мимо, обдало конским потным теплом, сверху на помятого, отощавшего за долгий путь солдата глянули серые глаза с румяного лица. И вдруг руки натянули вожжи, осадили коней:

— Тпр-ру-у!.. Эй! Никак, Матвей Студенкин?..

Матвей подошел куличьим шагом, отставил в сторону ногу в тугой обмотке, сощурился, как прицелился:

— Не ошибся... А вот ты из каких таких бар? Что-то не припомню.

— Ивана Слегова помнишь?

— Ваньку-то... Считаю, соседи.

— Так я сын его, тоже Иван.

— В гимназиях который?..

— Вот-вот. Садись, подвезу.

А в пролетке сидит молодая бабенка, черные брови из-под цветастой шали, расфуфырена и одеколоном пахнет.

— Женка, что ли?

— Ее тоже знать должен — Антипа Рыжова дочь...
Подвинься, Марусь, дай сесть человеку.

— Н-да-а... — Оглядел с откровенной недобротой обоих, но влез, не смущаясь, что может память городскую юбку у бабы, удобно устроился.

— Что поздно?

— Дела держали, очищал землю от контры.

— Как — очистил?

— Там, где был, — без меня доскребут. В Охотске генерала Пенелева застучали. Из генералов-то последний... Сюда бы пораньше, да болел вот шибко в дороге, по лазаретам валялся. Долгая дорога получилась — два года ехал. Теперь — все, приплыл.

— Чем займешься?

— Тем же самым, буду контру стричь.

— Генералов в наших краях не водится.

— Зато вижу: мелкой сволочи наплодилось.

Иван Слегов-младший усмехнулся, поднялся, крутанул над лошадиными крупами вожжами:

— И-эх! Серы кролики! Над-дай!.. Еще одного судью в село везем!

И когда кони наддали, Иван снова обернулся, оскалив крепкие зубы:

— Судей теперь у нас много, вот хлеборобов настоящих крутая недостача.

Прогнал по селу, не дал даже учуять святой момент, когда заносишь ногу в родные Палестины, осадил перед крепким домом с белыми наличниками, на задах которого громоздилось еще новое, не обдутое ветрами строение — конюшня не конюшня, коровник не коровник, — сказал:

— Слезай, ваша честь... Тут я живу. В гости особо не зову, уж извини. Что поп, что судья — гость скушный, любят проповеди.

— Обожди, может, приду гостем, — пообещал на прощание Матвей.

Дал повисеть на себе жене — баба она и есть баба, пусть на радостях слезу пустит.

Через ее плечо увидел: возле лавки стоит он — длинная грязная рубаха, короткие холщовые порточки, сизые босые ноги, похож на маленького старичка, отощавшего от долгих постов.

Отстранил жену, шагнул тяжело навстречу. Из-под нестриженных косм — замирающий от робости взгляд.

И через прозрачные с нерасплесканной детской тревогой глаза словно бы сам увидел себя со стороны — грязен, мят, устрашающе щетинист, от такого отца шарахнешься в сторону. Но сынишка только всем телом вздрогнул, когда отец положил на его плечи руки.

— Сенька-а...

Сквозь рубаху — легкая связь тонких косточек, хрупкая плоть.

— Сенька-а... Сы-ын...

Знал, что ему должно исполниться скоро десять, знал, что не люлечный, но как-то не представлял — человек уже, со своим страданием, и не шуточным, считайся. Запершило в горле, глаза загло едкой слезой, но плакать, видать, разучился.

Тут бы подарок вынуть, но где уж — после Красноярска и вещевого мешок загнал, налегке ехал, питался по бумажке, выбивал харч у несердобольного начальства. Вздыхнул, опустил плечи:

— Ты того...

Хотел сказать, что не тужи о подарке, я тебе, парень, жизнь новую привез, да постеснялся — поймет ли?..

Жена ахала:

— Ну-тка, как снег на голову. В доме-то одна квашеная капуста. Хоть щей бы сварила.

И верно, дом большой, отцовский, со старой копотью по бревнам — в нем голо и пусто, только на божнице старорежимные (тоже под густой копотью) иконы, которые надо будет, не откладывая надолго, снять и выбросить. На холодном шестке голодная кошка лазает по порожним корчажкам. И вид у жены под стать — высока, широка в кости, доброго мужика из нее можно выкроить, но эта широкая, как у старого, с запалом мерина, кость слишком наглядно выпирает из-под ветхой до прозрачности кофтенки, и плоское лицо в нездоровую зелень. Ясно, обстановочка не мелкобуржуазная.

— Сойдет, — успокоил он жену, — не жиреть приехал. Капуста так капуста — тащи и сама садись, буду задавать наводящие вопросы.

Жена собрала на стол, как приказано, села напротив — в глазах счастливо слезливый блеск, даже румянец прокрался на увядшие щеки. Сын в сторонке, смотрит диковато и замороженно, привыкает к незнакомому отцу. А тот ел хлеб, который покалывал небо мякиной, выуживал из миски капусту с запашком, косил глазом на сына, разуживал об Иване Слегове.

— Он ведь чудно разбогател, — докладывала жена. — Он лошадь на поросенка сменял, с того и пошла у него прибыль...

— Как это — лошадь на поросенка? — Матвей многое повидал, удивляться разучился, а тут удивился. Даже ему, оторвавшемуся от села, была известна немудреная мужицкая заповедь: ценней лошади только твоя жизнь и не всегда-то жены, — при доброй лошади новую жену найдешь.

— Уж народ-то смеялся, уж все-то тогда потешались... Ну-ко, хряка молоденького выменял. И поди ж ты, не прогадал. Сказывают, книги такие есть... А сам знаешь, Ванька Слегов к книгам сызмала привык. Отец потакал, со старухой на картошке да на квасе сидел, а сынка единственного в гимназию сунул. Сказывают, по книгам Ванька и дошел, что ежели разыскать какого-то там англичского хряка да свести с нашей свиной, то приплод получится на отличку.

— Англичский, не наш?.. Так-то, поди, мировая буржуазия и подсовывает нам свиную — хочет заново расплодить богачей в пролетарской стране.

— Уж, право, не знаю, кто там... Но у Ваньки ловко получилось: за два года стадо набрал, а свиной-то — что тебе чувалы, вот-вот лопнут, каждая брюхом землю гладит. Все-то на продажу везли, кто рожь, кто овес, а Ванюха — мясо. За мясо-то погуще платят, так что быстро перьями оброс: свиновод сколотил, хоть сам живи, а коней каких купил...

— Коней его видел. Агент империализма этот ваш Ванька.

— А ведь смеялись-то как люди. То-то смешки...

— Им бы плакать надо — буржуй под боком, как поганый гриб, растет.

— Ты на него зря серчаешь, он ничего, обходительный и в помощи не откажет.

— В молодости-то и волк молочко пьет.

За дверями раздались шаркающие шаги и стук тяжелой палки.

Жена Матвея встрепенулась:

— Ох, господи! Афанас Саввич идет! А что ему подать, не капуста же жменю...

Дверь распахнулась, на пороге вырос плоский, как сама дверь, старик с холщовой сумой на плече и сквозной апостольской бородой, рассыпанной по груди. Переложив из правой руки в левую суковатую палку, он сте-

пенно перекрестился в угол на еще не снятые иконы, суровым голосом потребовал:

— На пропитание, Христа ради.

Матвей проворно вскочил, выставив обтянутую обмоткой ногу, тонкую, как голень болотной птицы, сощурил глаз. В степенном старике с нищенской сумой он признал Афанасия Тулупова, самого наиболее богатого мужика не только по селу, но и в округе. Когда Матвей уходил в армию, Тулупов имел больше ста десятин земли, маслобойку, мельницу, широко торговал кожами. В сапогах из тулуповской кожи люди топтали дорогу к Вятке, к Вологде, к Архангельску.

— Так, так... К пролетариату пришел?

— На пропитание, Христа ради.

— Так, так, Христа ради... Обличье-то новое, а песни у тебя, Афанас, старые. Нет, ты повинись передо мной: я, мол, бывший мироед и эксплуататор, прошу кусок хлеба у своего батрака Матвея Васильевича Студенкина. Тогда я, может, тобой не побрезгую, за стол посажу.

Старик, как в стенку, глянул мутными глазами в Матвея, стоявшего перед ним фертном, еще раз не спеша перекрестился:

— Бог тебя простит.

Взыграло ли прежнее, спесивое, или разглядел, что после Матвея за стол садиться нечего — хлеб с мякиной щедрый хозяин сам умял, осталась-то капуста... Повернулся и, согнувшись в низких дверях, вышел.

— Эвон, как обернулось, — вздохнула жена, — он — и перед нами христарадничает. Светопреставление.

— Дура ты несознательная. Богатого с сумой по миру пустили. Радуйся.

Давно уже в селе Пожары разделили тулуповскую землю. А земля не хлеб, ее трудно делить поровну — тебе кус, мне кус. Тебе попался черноземный клин на вылоге, мне — чистый песочек на припеке, ты доволен, а я нет!

С революции в Пожарах тянулась глухая война, подзатихла было с продразверсткой, да опять вспыхнула. Большая семья Тулуповых давно расплозлась, остался лишь сам старик Афанасий, ходил под окнами:

— Христа ради, на пропитание.

И вот в спорах да дрызгах раздался трезвый голос вернувшегося Матвея:

— Ставлю два вопроса, и оба ребром. Первый: запретить поминать Христа как имя старорежимное. Всех ку-

сошников, какие сейчас Христовым именем под окнами просят, предлагаю гнать в шею. Во-вторых, заявляю вам: несознательная стихия вы! Тулупова распотрошили, а сами?.. Каждый из вас в путре мироед Тулулов, только кишкой потоньше. Вот лично я, как осознавший и презревший всю гнусную суть частной собственности, не хочу для себя тулуповской земли! Я за то, чтоб не делить ее вовсе, чтоб сообща ее пахать, сеять, урожай сымать. Чтоб одной семьей — коммунией! Да здравствует, дорогие товарищи, братство да равенство!..

Мужики, поносившие друг друга, тут дружно ухмылялись — блажит Мотька, мало ли в последнее время с ума сходят.

Но должны бы знать эти мужики — коль один петух вскинется, то и другие отзовутся. Скажем, кому-то отрежут от тулуповского каравая жирный ломоть, а укусить его нечем — нет ни лошади, ни плуга, ни оброти, ни семян. Таких беззубых по селу оказалось немало. Беззубые, но не безголосые:

— Не жела-им своей земли! Артельно чтоб!

Ишь ты — «не желаим», тоже гордые — смех и грех.

Мотька Студенкин в свободное от митингов время занимался безобидным баловством, сидел на крылечке, строгал ножиком из досок ружья. Вся пожарская ребятня, как пчелы у ведра с патокой, кружились возле него. Он им и сопли утирал, и судил, если поссорятся, снабжал всех без отлички деревянными ружьями и свистульками.

— Эх, мокроносые, счастье вам — в самое время родились. Пока доспеете, глядишь, последнего буржуя в мире, как вошь, придавим. Богатство поровну всем, чтоб ни один человек на свете с голой задницей не ходил — у всех штаны одинаковые. Ни зависти в мире, ни злобы, ни забот тебе, чтоб деньгу зашибить — красота, а не жизнь у нас впереди, ребятки. Может, и мы на старости лет успеем того хлебнуть.

А изба у него кособочилась, прясла изгороди попадали, жена одна, как прежде, убивалась по хозяйству.

Мотька баловался с детишками, а вокруг его имени собиралась бедняцкая голосистая вольница, для них все — трын-трава, терять нечего. Степенные мужики продолжали посмеиваться:

— Не разберешь, где стар, где мал. Ком-па-ния!..

Но вдруг Пожарский мир притих от удивления. На сторону Мотькиной вольницы встал Вашуха Слегов.

Шло обычное собрание в тулуповском доме, давно уже ставшем сельсоветом. Обычное собрание, где крикливые ораторы дубасили себя кулаками в грудь, с визгливыми бабьими криками из задворок людной горницы, с солеными шуточками парней, с густым угаром от самосада.

Тут-то и вышел Иван Слегов. Он вышел к столу, и все притихли, знали — этот пустое брехать не будет. Из молодых, да ранний, на сажень под землю видит.

Иван Слегов начал с байки:

— Бежит свора собак за зайцем. Какая быстрее да сноровистей — хватает, а другие чужой удачи не терпят, на счастливую да на удачливую скопом наваливаются. Зайца — в клочья, никто не сыт, зато все покусаны... Не напоминают ли, мужики, эти собачьи порядки нашу жизнь? Каждый старается урвать для себя, покусать другого. Не пора ли жить иначе, не по-собачьи — по-человечьи, с умом, сообща, чтоб не было обиженных...

Он говорил, а его разглядывали: полушубочек, стянутый в талии, брюки добротного сукна вправлены в бурки с отворотами, желтой кожей обшитые. Таких бурок ни у кого не отыщешь — не деревенской выделки. «Не было обиженных...» А сам-то не обижен ни богом, ни людьми, сам-то из тех быстрых да сноровистых, какие первыми зайца хватают да еще примеряются, чтобы пожирней какой. Слушали его в немом недоверии, когда зазывал объединять все хозяйства в одно-единое.

Может, слова Ванюхи Слегова не понравились кому-нибудь Петру Гнилову, у кого на дворе тоже пара коней, овцы, свиньи, три молочные коровы, — не расчет ему брататься. Петру Гнилову не понравилось, но еще больше пришлось не по душе Матвею Студенкину — неспроста кулак рвется в коммунию, держи на мушке, зри сквозь прорезь.

Матвей кривить душой не любил, решил выяснить напрямую:

— Ну-ка, по совести, чего тебя к нам потянуло?

— Масштабы, — ответил Слегов.

— Это чтой за штуковина? — Матвей книг не читал, слов мудреных не знал.

— Простор, чтоб развернуться.

— Эвон-он что! Развернуться тебе нужно?.. А дадим ли?

Иван Слегов отступил на шаг, расправил плечи:

— А ну, Матвей, погляди...

— Гляжу.

— На меня повнимательней погляди, не стесняйся, с ног до головы обозрей.

И Матвей долго и хмуро разглядывал Ивана: красив, сукин сын, рожа румяная, глаз серый с блеском, из-под мерлушковой шапки с кожаным верхом русая прядь на гладком лбу, из-под ладного полушубка брючки тонкого сукна, и эти бурки — генералу надеть не совестно. Сам Матвей, в неизносимой короткой шинелишке, обдудой ветрами Тихого океана, в старых, с чужих ног валенках, сменивших разбитые армейские ботинки с обмотками, с небритым, изрезанным морщинами лицом, почувствовал себя таким жалким, хоть возьми да запой голосом Афанаса Тулупова: «На пропитание, Христа ради!»

Матвей слотнул комок в горле, пошевелил скрюченными пальцами:

— Картинка. Жалею — трехлинейки не захватил.

— Тебя жизнь одному научила — из трехлинейки стрелять. А пулей, Матвей, жизнь не построишь.

— Значит, сложи оружие?

— Значит, жизнь устраивай. Пора! Я себя устроил, хочу устроить других, да так, чтоб все выглядели, как я, даже лучше. Все, и ты тоже.

Матвей криво усмехнулся небритой физиономией:

— Валяй. Нам до поры до времени попутчики нужны. Но помни, Ванька, я палец-то на крючке держу.

— Попутчиком под твоей трехлинейкой?

— А то как же.

— Выходит, воевал ты воевал, да так ничего и не изменил.

— А по-моему, переменялось. Иль не замечаешь?

— Да ведь о прежнем мечтаешь: один с трехлинейкой, другой с сохой, один барин-господин, другой раб. Шубу изнанкой вывернуть — она лучше не станет.

— Ты-то чего бы хотел?

— Одного — чтоб ты в сторонку отошел. А то поведешь вперед да заблудишься, на старое место попадешь.

— В сторонку?.. Не выгорит!

— Поживем — увидим.

— Поживем — увидим, — согласился Матвей.

Иван Слеглов сказал слово и продолжал жить, как и жил, — тянул с женой свое большое хозяйство, выезжал на серой паре, вечерами жег керосин, читал книги.

А Мотька Студенкин отложил нож, которым строгал балясины для забавы пожарской ребятни, натянул фрон-

товую пипелишку и своим куличьим шагом двинулся в город Вохрово. Без робости он вваливался в кабинеты районного начальства, заседал напористо, чуть не брал за грудки:

— Вы что это, так вашу перетак, не чешетесь? Беднякам в Пожарах продыху нет!.. Мировой революции задержка на нашем участке!..

Не Иван Слегов, а Матвей Студенкин выколол из властей бумагу:

«Земельные угодья старорежимного кулака-эксплуататора Тулупова с этого года и навсегда подушному разделу не принадлежат, а целиком и полностью отдаются в руки беднейших крестьян села Пожары, которые объединяются в сельскую коммуну и зачинают на практике коммунизм, предсказанный великим вождем мирового пролетариата Карлом Марксом».

Землю делили раз в четыре года, подошел срок. И вот, бумага по всем правилам — с лиловой печатью и подписями. Умойся, кто ждал себе тулуповской землицы. Повоевали, и хватит — ничья, неделима.

Не Иван Слегов, а Матвей созвал голытьбу на первое собрание коммунаров, сел на председательское место, заявил: «Выбирай, народ, народного вожака!»

Выбирать?.. Да ясно же — Матвей заводила. Матвей достал бумагу, он уже сидит за столом, чего там долго тень на плетень наводить, поднять руки, и шабаш.

Но и на ясном солнышке бывают пятна, а в любом стаде коза с норовом.

— Сомненьице есть!

Одна-единственная рука над шапками и бабьими платками.

— Кто там еще?.. Э-э, Пийко... Ну что ж, давай.

Пробился к столу Пийко Лыков, один из заговевших в холостяжничестве парней — лет под тридцать, невысок, крепко сбит, голова затылком растет из широких плеч, голубые глазки ласково жмурятся, как у кошки, которую гладят. Пийко — из незаможных, живет у брата, ходит по деревням, «растирает» бревна на тес, кой-какой заработок имеет, даже старшего брата с выводком подкармливает, а в коммуну принести — только пару рабочих рук, не больше того. И еще на одно Пийко мастак — может против шерсти погладить, что и не заметишь. Сейчас в его голосе медок:

— Матвей Васильевич — человек заслуженный. Кто Колчака бил? Матвей Студенкин! Кто с японцами вое-

вал? Матвей Студенкин! Спросите меня, кого я больше всех уважаю,— Матвея Студенкина! По моему-то разумению, мы, может, тебе, Матвей Васильевич, памятник должны поставить. Ты же что сделал? На новый путь нас толкнул! Не-ет! Памятник для внуков — вот, мол, с кого началось... Но уж не будь в обиде, Матвей Васильевич, за неуважение не сочти, а распорядиться хозяйством я бы пригласил Ивана Слегова. Заслуг у него ровно никаких, до памятника не дорос, а вот хозяйская хватка есть. Сметлив и удачлив — все видим... Служил он себе, а теперь пусть людям послужит... под нашим доглядом, не иначе. А в первую очередь, само собой, станет за ним доглядывать Матвей Васильевич. Уж старому боевому орлу с высоты будет видней — верный ли курс берет Слегов или неверный...

Высказался, развел с улыбочкой короткие руки — мол, не судите строго, ежели что не так,— и Матвею Студенкину покивал вросшей в плечи головой,— не изволь гневаться.

Матвей, однако, не клюнул на обещание Пийко Лыкова поставить памятник. Он сам себе объявил слово:

— Эх вы, простаки, простаки! Легко же таких Пийко на кривой объехать. Чутья классового ни на понюшку! Как нынче ты живешь, Пийко? Слегов-то наверху, ты где-то у него под коленками. И не дивно ли тебе, Пийко Лыков, что Ванька Слегов к тебе вниз полез? Почему бы это ему, богатенькому, братства да равенства захотелось? А потому, проста душа, чтоб крепче тебя оседлать, снова наверх выскочить — работай, я покомандую! Братство!.. По селу головы ломают — мол, коней, свиней, коров своих — все отдает. Задаром, от доброго сердца? Ой нет, ставка-то не мала, но и выигрыш велик. За коней и свиней он силу получить хочет над нами, над деревенскими пролетариями.

Матвей помахивал сухим кулаком, с каждым словом словно гвоздь вбивал, а в толпе слышались одобрительные вздохи. Кто про себя не гадал да не носил подозрение: «Неспроста отдает хозяйство...» Теперь ясно: «Ох и ловок! Но шалишь, поплела петли лисичка, да нарвалась-таки...»

Иван Слегов сидел тут же, в первом ряду, на видном месте — полушубок распахнут, полотняная рубашка перехвачена шелковым пояском, нога перекинута на ногу, лицо спокойное, слушает, не сводит глаз с Матвея, словно речь идет не о нем.

А Матвей продолжал:

— Идет к нам — иди! Любой иди! Запрету нет, но иди на равных, не цель оседлать нас. Сдай коней, свиней, будь таким, как все, пролетарием. Только вот беда, захочешь ли? Хитрость-то твою раскусили. У меня все, граждане-товарищи. Выложил. А вы судите.

И с ходу поднялись судить:

— Пусть-ко теперь Слегов скажет!

— Вер-на! Поделись-ка, Ванька, мыслей!

— Перед миром-то не отвертись!

— Валяй лучше начистую!

Иван встал, все смолкли. Ждали — скажет сейчас: «Да ну вас к чертям собачьим! Велика ли мне корысть с вас!» Поди, и прав будет. Но он, повернувшись спиной к столу, к Матвею Студенкину, лицом к людям, снял шапку, помял в руках кожаный верх, глядя поверх голов, сказал твердым голосом:

— Ежели скажу: верьте — поверите? Нет, не надеюсь. Так и уверять да клясться не буду. Думайте как хотите, пока делом не докажу. Все!

Сел, перекинул ногу на ногу.

Собрание больше против Слегова не кричало, но выбрали председателем коммуны Матвея Студенкина — единогласно, и Пийко Лыков не посмел поднять руку против.

После собрания Матвей при всех подошел к Ивану:

— Ну как? Поживем — увидим?

— Так ведь жить-то еще не начали, — ответил Иван.

Бывший тулуповский приказчик Левка Ухо, один из самых наигорьких пьяниц по селу, но грамотей, собственноручно намалевал вывеску: «ШТАБ КОММУНЫ «ВЛАСТЬ ТРУДА». А в штабе — Матвей Студенкин за столом. А на столе — чугунный письменный прибор (тулуповское наследство), над дырой для чернил младенец с крылышками грозит пальцем. Об этого крылатого младенца Матвей давил махорочные окурки.

И еще сбоку стоял стол — для счетовода. Туда посадили Левку Ухо. Сидел примерно, даже когда был совсем пьян, только в те моменты делами не занимался, а, подперев голову ладонями, капающая слезы на коммунарские бумаги, тянул «Лучинушку».

И-извела меня-а кручина,

По-одко-олодная змея-а...

Матвей терпел его нытье — другого верного грамотея на примете не было. Слава богу, что пьяным Левка не буянил — человек тихий, мухи не обидит.

Дело Матвея — быть председателем, держать марку и распоряжаться. А для того чтобы распоряжения передавались куда надо, без задержки, назначил заместителя попроворней да посмекалистей. Под него по всем статьям подошел Пийко Лыков.

Он родился шестым в семье, а потому в десять лет отец выдал ему двадцать пять копеек на дорогу, мать повесила на плечи мешок с сухарями. В подпаски по соседству никто не брал, издавна повелось ходить под Ярославль, а путь туда не близкий — верст триста от деревни к деревне. Триста верст пешком с котомкою, а лет тебе десять, в других семьях в такие годы мамка чуть ли не с ложки кормит. Ночевка в попутной избе стоит две копейки — место на полу и кипяток хозяйкин.

Помяла Пийко жизнь и потеряла, умел ладить со всяким: голубые глазки глядят в зрачки с готовностью, порывисто быстр, только кивни — обернется на живой ноге: «Сделано!» Удобный человек, потом самого бедняцкого роду.

Весна, а в коммуне — шесть лошадей, из них четыре еле себя носят, и три плуга.

Председатель Матвей Васильевич Студенкин сидит за столом, признает:

— Да-а, туговато придется...

Но на то он и председатель, чтоб, не раскисая, давать установку:

— Мужики! Себя не жалеть — работать! Так-то!

И мужики соглашаются, не перечат.

Матвей сидит за столом, давит окурки под чугуниным младенцем, подымать мужиков на работу — обязанность Пийко Лыкова.

Собралась в кучу деревенская голь. Каждый мечтал о своей земле. На вот землю — твоя!

Моя?.. Ан нет, маленькая поправочка — наша.

Земля общая, все на ней равны. Все равны, и ты снижаешь усердие, равняешься на того, кто тебе не равен. Но и тот не из последних, и он оглядывается на тех, кто силой пожиже, подравнивает себя, подравниваешься и ты. День за днем идет равнение друг на друга — до нуля, до полного покоя!

На Березовский клин наряжены пахать Федька Самоха и Гришка Кочкин. Кони брошены в борозде, Федька с Гришкой греют животы на солнышке. Попробуй на них прикрикнуть, пошлют по матушке самого Матвея-председателя, а уж Пийко-то и совсем не постесняются.

Пийко не совестит, не кричит, не разоряется, он весел и ласков:

— Жирок нагуливаете, ребятушки? Ну лежите, лежите, а я поработаю.

«Ребятюшки» не успеют поднять очумевшие от дремы головы, а уж Пийко идет за плугом, отваливает пласт... Посидят, похлопают глазами, станет неловко:

— Эй, Пийко! Катись по своим делам!.. Мы ведь на минутку, мы — так...

— Вижу — как. На Тулупова ломали по-другому.

— Да ладно тебе.

И Пийко бежит рысцой дальше. И когда, обежав всех, является в правление, пыльный, потный, пахнущий землей, навозом, лошаадьми, Матвей Студенкин встречает его вопросом:

— Ну, как там?

— Порядочек! — физиономия в красной парноте, голубые глазки в усмешечке.

Порядочек? Ой нет!

Пахали и сеяли — мучились, засеяли половину земли.

Косили — мучились: ни «живой» телеги, чтоб вывезти сено, ни целого хомута.

Мучились, убирая тощий урожай.

Сник веселый Пийко Лыков, рад бы оставить руководящую должность — пила-растируха кормила лучше.

А зимой пали три лошади.

Левка Ухо, сжимая голову руками, лил пьяные слезы на свои счетоводческие бумаги:

Извела меня кручина,

Подколотная змея...

Он уже никогда не бывал трезв.

Коммуна гибла от бедности.

Один только Матвей Студенкин не терял головы. Он читал. Читать-то умел, а вот писать — только свою фамилию под бумагами.

Матвей читал газеты. Газеты же призывали к наступлению на кулака, но по-разному — одни требовали крайних мер, другие остерегали от персгибщиков.

Матвей откладывал газеты в сторону, просил заложить рессорную пролетку, принадлежавшую не так давно Ивану Слегову; лошадь обряжалась в сбрую, с бубенцами, с медными бляшками — тоже слеговскую, — и председатель отправлялся в район, к начальству, утрясать вопросы.

В районе ясных указаний не давали, кидали скупос:
— Ждем решений.

— До кой поры ждать? Нас мироеды с костями sloпают.

— Скоро съезд партии...

Пятнадцатый съезд ВКП(б) собрался в декабре. С отчетным докладом выступал генсек Сталин, он сказал: «Не правы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил печать, и точка. Кулака надо взять мерами экономического порядка, на основе революционной законности. А революционная законность не есть пустая фраза. Это не исключает, конечно, применения некоторых необходимых административных мер против кулака. Но административные меры не должны замещать мероприятий экономического порядка».

Взять Петра Гнилова «экономическим порядком», а как тут возьмешь, когда он, Гнилов, едва ли не богаче всей коммуны. И есть еще Ефим Добряков, есть Митька Елькин — та компания. Да если они возьмутся, то «экономическим порядком» все село узлом свяжут, никто и не брыкнется.

Матвей угрюмо давил окурки о крылатого младенца, но в район ездить не перестал. Ездил от нечего делать, не надеялся сговориться.

Однако Сталин, видать, знал, как действовать, — слова словами, а дело делом. После одной поездки Матвей привез плакат, повесил у себя над головой. На плакате нарисован жирный, бородатый, звериного вида кулак с обрезом, стояла надпись: «Ликвидируем кулачество как класс!»

Матвей вызвал своего заместителя Пийко:

— Собери всех по селу с мала до велика. Говорить буду.

Собрались стар и млад — тревожное в воздухе, каждому хотелось узнать, что это привез Матвей Студенкин? В тулуповской горнице, что там яблоко, луцное семечко упади — до полу не долетит.

Матвей выступал часто, ни одного собрания не проходило без того, чтобы не толкал речугу, не призывал до хрипоты к сознательности. Но эта его речь не походила на обычные.

В те дни он простыл, до прокуренных усов туго обмотан бабьим платком, голос сиплый, лицо темное, глаза сухо и зло поблескивают под изборожденным морщинами лбом.

— Хреновы наши дела в коммуне! — сипел он. — Хуже надо, да некуда. Тонем, братцы, скоро на дно сядем...

И в набитой горнице наступила погребная, бросающая в озноб тишина, даже скамьями скрипеть перестали. Шутка ли, сам начал с того — коммуна тонет, садится на дно. Сам председатель Студенкин!

А Матвей рвал эту тишину простуженным голосом:

— Нам — хреново, не на чем пахать, нечем сеять, а вокруг коммунды?.. А?.. Со сторонки на нас смотрите да похихикиваете, что вам, лошади у вас гладкие, справа добрая, семена в закромах! Кто вы в сравнении с нами, коммунарами? Богачи! А для чего революцию делали?.. А?.. Мы потопнем, пузыри пустим, а вы дальше поплывете?.. Нет, землячки, не пройдет такой номер! Мы вот что вам скажем: революция-то не кончена! Эй! Слышишь меня, Петр Гнилов? А ты, Елькин Митрий, слышишь? А Добряков Ефим здесь ли?.. Слышите вы, справные хозяева?..

После этого собрания Матвея пытались убить.

Он приказал жене истопить баню:

— Простыл шибко. Ужо толком попарюсь, может, полегчает.

Жена ушла управляться, а он прилег и заснул.

Он спал так крепко, что не слышал, как со всего села с гвалтом сбегался к его дому народ.

— Мам-ка-то! Мам-ка!..

Вскинулся:

— Ты чего?

Сынишка у изголовья, в полутьме на бледном лице виден лишь раскрытый рот, хватает воздух, цепляется руками за рубаху:

— Ма-ам-ка!.. В бане!..

За темным окном — накаленный, из тусклой красной меди, ствол березки. Матвея ошпарило, сорвался с койки...

Вдавленная в землю черная банька пряталась в ольховом овраге, в который упирался двор Матвея. На селе поздно увидели зарево, сбежались, когда не подступись.

Бабы ахали, кричали на мужиков:

— Чего вы, охламоны, топчетесь? Живая ж душа там!

— Гос-поди! Да кручься несите!

Кто-то бегал и суетился без толку:

— Ве-едра! Где ве-едра?! К ручью цепью надоть!

Кто-то стоял замороженно: банька с нижних венцов до верхних — золотисто-сквозная, крыша в чадных лохмотьях пламени. Где уж...

Кто-то судил да гадал:

— Добрались-таки до Мотьки.

— Царствие ему небесное.

— Ой, не похвалят за душегубство!

— Авдотья будто слышала: из бани-то вроде бабий голос кричал.

— Тут не по-бабьи, по-пороссячи заверещишь, коль поджарит.

И вдруг шарахнулись на две стороны — ворвался Матвей, босой, по залежавшемуся апрельскому снежку, без шапки, в исподней рубахе, воскресший для всех из огня. Он ворвался и словно наткнулся на стенку, встал на шаг от весело постреливающих, зло раскаленных бревен, дико уставился слепыми запавшими глазами. За его штаны цеплялся сынишка, тряся худеньким телом.

Какая-то баба не выдержала, взвыла позади:

— Горе-емыч-ные! Да что же тепер с вами станется!..

В это время крыша баньки прогнулась, с хрустом и шорохом обвалилась внутрь. Вспухла тугая розовая волна, осыпала искрами Матвея, его всклокоченные волосы, его полыхающую отсветами рубаху. Матвей вздрогнул, оторвал взгляд от огня, повернулся к людям, замершим от робости, от горестного сочувствия, — лицо накаленно-горячее, вместо глаз темные ямины.

А к отцу жался сынишка. Матвей заметил его, нагнулся, поднял, прижал к себе, ступая босыми ногами по расквашенному снегу, понес от огня. Люди, тесня друг друга, торопливо расступались.

Шагов через десять Матвей остановился, снова повернул безглазое лицо к бане, и лицо скривилось судорогой.

— Нет, Сенька! Нет, гляди, сын! — хрипло закричал Матвей. — Гляди, Сенька, и впитывай! Кулачье на всю жизнь запомни! Их рук дело!..

В тревожно пляшущих отсветах пламени теснился народ. А Матвей хрипло кричал:

— Гляди, Сенька! Чтоб жалости потом не знал! Чтоб давил гадов и жег! Гляди, сынок, любуйся!..

Люди поеживались, молчали. Баня догорала, багрово высвечивая Матвея, растрепанного, в длинной выпущенной рубахе, прижимавшего к груди сына.

Неизносная армейская шинелишка, единственный наряд председателя, его шапка из псिनного меха попутали охотничков. Их на себя надела жена. Ее приняли за Матвея — баба была рослая, корпусом походила на мужика, — выследили, приперли дверь колом. Баня-то сгорела, а кол остался, только обуглился с одного конца. Этот кол Матвей поставил на видном месте в конторе.

— Разбираться лишка не стану, — говорил он каждому, кто приходил, — кто тут виноват, кто нет — дело судейское. Для меня все богатеи виноваты. Пусть все они загодя богу молятся.

Он почернел лицом, страшно исхудал, сквозь небритые щеки выпирали челюсти, глаза провалились. Прежде вроде бы жену ласковым словом не баловал, а теперь всяк видел — сохнет. Сыну он сам стирал рубахи, вместе с бабами не стеснялся полоскать нищенское белье на вымостках, сам латки ставил, сам варил варево, обиходил, как мог, и учил:

— Помни, мать, Сенька, от кулацкой руки лютую смерть приняла, держи это под сердцем. А пока ты силу не наберешь, я буду стараться... Уж буду!..

Но прошел год, прежде чем Матвей Студенкин вернулся.

В начале мая, сразу после праздников, он диктовал опухшему, вечно похмельному Левке Ухо:

— Пиши: Гнилов Петр Емельянович — две лошади, три молочные коровы... Написал?.. Теперь ставь Добрякова Ефима — тоже две лошади — кобыла да стригунок, две коровы. Елькин Митрий Осипович...

Список был длинный, в него входили все, кто жил в достатке. Последним стоял Антип Рыжов, тесть Ивана Слегова. Против его фамилии Матвей указал проставить: «Не шибко богат — лошадь да корова, зато язык длинный, пускает вражеские разговоры по селу». Жаль, что Ваньку Слегова теперь не зацепишь — ни лошадей у него, ни коров, ни даже курицы своей во дворе не держит, и разговоры вражеские не приклеишь, молчун, хотя кому не ясно — думает не по-нашему.

Самих убийц найти не смогли, да Матвей тут особо и не усердствовал: так ли уж важно открыть только убийц, война-то идет классовая — все, кто не с нами, тот наш враг.

Реквизированные у раскулаченных богатеев шубы, поневы, зипуны, сапоги раздавались по списку самым беднейшим. В беднейших числился и сам Матвей Студенкин, что у него — пара горшков щербатых, обгрызенные деревянные ложки да из живности тараканы в стенах. Он мог бы взять много — своя рука владыка, — но взял лишь полушубок с плеча Ефима Добрякова. Шинель-то сгорела вместе с женой, жену, что уж, не вернешь, а шинель законно и возместить. Пригребать себе кулацкое Матвей не хотел — за идею воюем, не за барахло, пусть знают.

В освободившиеся дома вселяли тех, кто не имел крыши. На тридцать первом году своей жизни Пийко Лыков въехал в собственный дом — пятистенок Петра Гнилова. Въехал?.. Да нет, просто вошел, неся с собой фанерный чемоданчик и узел, где лежали суконные штаны и яловые сапоги.

А по селу опять ходила молва о бесовской сметливости Ванюхи Слегова. Загодя знал, к чему причалить, ехал бы теперь в компании Гниловых да Елькиных. Ан нет, цел, при деле, живет тихо и мирно, еще и наверх выбьется. Ох, ловок нечеловечески!

В доме Слеговых лила слезы Маруська, жена Ивана, дочь Антипа Рыжова. Она оплакивала отца, мать, трех братьев, высланных Матвеем Студенкиным в дальние края.

Матвей прежде читал газеты да давил окурки о чугунного младенца. Пришло время — нашлось занятие по характеру: обходил дом за домом. Дверь открывал пинком ноги, не ломал шапку, не бросал «здравствуйте»; спрашивал у робевшего хозяина в лоб:

— Заявление подал?

И если отвечали: «Нет», цедил сквозь зубы:

— Мотри у меня.

Матвей выполнял сто процентов. Ни одного человека не должно быть в селе, кто не подал бы заявление в колхоз. Охват на сто процентов, и никак не меньше.

Левка Ухо разрисовал новую вывеску — пошире и покрасней: «ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА «ВЛАСТЬ ТРУ-

ДА». Уже не «штаб», а «правление» и не «коммуна», а «колхоз» — такова установка сверху, хотя сердцу Матвея старые слова милей.

Эта вывеска была последним, что сотворил в своей жизни Левка Ухо, грустного характера человек, которого даже не веселило злое вино.

Он в последнее время пил без просветов, являлся утром в контору, уже держась за стенку, до своего стула все-таки добирался, обхватывал руками голову и начинал «Лучинушку». Дошло до того, что не выдержал и Матвей. Выбрал момент, когда Левка был чуток «прозрачней», заявил со всей прямоотой:

— Хоть ты и не кулацкого роду, но работать с тобой трудно, даже совсем невозможно. Ежели бы ты революционные песни пел, а то тянешь какую-то нуду — душу воротит. Сымаю тебя с должности.

Снять просто, расчета не требовалось, Левка лучше других знал, что колхозная касса не то чтобы пуста, просто ее не существовало. Матвей же не мог дать ему из своих и щербатого гривенника на опохмелку — какие у него деньги. Левка встал и тихо ушел.

Вечером все слышали, как он нудил свою «Лучинушку» на крыльце Секретии Ключвишны. А утром исчез, говорят — тихо скончался в районной больнице.

Стараниями Матвея в Пожарах не осталось ни одного единоличника.

Матвей Студенкин — сила, Матвей Студенкин — власть. Когда он шагает по улице своей куличьей походкой, разговоры смолкают, мужики невесело расступаются, на бабьих лицах появляется невинно-постное выражение. Только дети не боялись Матвея, увязывались за ним:

— Дяденька Матвей, ты коня на колесах сделать сулил!

Матвей в жизни ни одного мальчишку не шуганул сердито, всегда сбавит шаг, пообещает:

— Обожди, милой, недосуг теперь.

А то и остановится, нагнется:

— Эх, пролетарий, нос-то у тебя... Ну-тка.

Утрет, шлепнет по заду:

— Иди, воюй!

Мальчишке и горя мало, что дяденька Матвей марширует к его отцу. Того при виде Матвея бросает в холодный пот.

— Мотри у меня...

Не дай бог, ежели прибавит — «подкулачник», не долго и зашагать из села под доглядом милиционера.

Кто теперь против Матвея Студенкина? Никого.

Ой ли?.. В колхоз вошел крепкий середняк — хозяйственные мужики, они принесли заботу и тревогу — жить-то надо, а как? В колхозе касса пуста, но бедным теперь его не назовешь — тягло, скот, инвентарь раскулаченных и высланных перешли в колхоз. Надо жить и, поди, можно жить. Но на житье-бытье студенкинской коммуны все досыта нагляделись.

Против Матвея открыто — никто, но за спиной, шепотком — все: «Пропадать нам с таким председателем, по миру с котомками пойдем».

Матвея же — как жить? — не волнует. Для него это вопрос ясный. Во-первых, новую колхозную жизнь надо начать с общего собрания, где его законно выберут председателем. Во-вторых, на этом собрании следует твердо заявить — кто не работает, тот не ест! В-третьих, если его слово собрало в колхоз все сто процентов работоспособного пожарского населения, то оно заставит собирать и стопроцентные урожаи. Матвею ясно, у Матвея — твердая линия.

На общем собрании он, как всегда, восседал в центре стола — острые плечи разведены, хрящеватый нос с сухого лица нацелен «на массы», лоб изборозжен суровыми морщинами. Даже первые скамьи люди занимали неохотно — приятно ли сидеть под прицелом председателя, за спинами вольготней.

Взял слово Иван Слегов. Укатали сивку крутые горки — не тот Иван, ладный полушубочек потерт, на ногах уж не бурки городской выделки, а подшитые валенки, и в осаночке нет прежней вальяжности. Попробовал бы теперь сказать Матвею Студенкину: «Погляди на меня, хорош ли?»

Выступать Ивану против Матвея опасней, чем кому-либо, — сразу помянет старые замашки — из кулаков чудом выскочил. Никто и не ждал от Ивана храбрости.

Но Иван повернулся к Матвею и заговорил:

— Ты, Матвей, большой мастер. Вытряхнуть из кого-то там потроха умеешь. И спасибо тебе, натряс — есть лошади в колхозе, есть все, чтоб работать. Но трясти-то больше некого, вот беда. Не пригодится твое мастерство. Что же тебе дальше делать? Опять газетки читать, покуривать?.. От этого, сам знаешь, жизнь не наладит-

ся. Мой совет тебе — уходи, пока колхоз не развалил. Чем быстрее ты на это решишься, тем лучше. Все хотят! — Круто повернулся к людям: — Иль неправда?

И Матвей только успел налиться кирпичным цветом, открыть рот, но выдать слово ему уж не дали. Взорвалось в воздухе единым дыханием:

— Пра-ав-да-а!

И загромыхало:

— Не хотим Студенкина!

— Какой ты хозяин!

— Сами выберем!

— Газетки-то читать многие умеют!

— Братцы, кричи другого!

— А вот Лыкова, что ли?..

— Обходительный!

— Пийко, бери власть!

И пикто не обмолвился об Иване Слегове. О нем как-то все забыли. Иван постоял, постоял перед шумящим народом и незаметно сел на свое место.

* * *

Тащит с натугой валенки старый Матвей Студенкин. Растянулось село Пожары, длинна до дому дорога. Не верится, что доберется до теплой лежанки, — считай, пять лет от нее не отходил.

Встречаются люди. Кто помоложе, даже не оглядываются — совсем незнаком. Кто постарше, скучновато дивятся: «Эва, Альки Студенкиной свекор вылез, износу ему нет». Он — Алькин свекор, и только-то, забыли люди напрочь, что когда-то боялись его взгляда, слову его перечить не могли.

Тащит Матвей груз долгих лет, налегает на клюку...

После того собрания он махнул в район за помощью: «Добро же! Кулацкого слова послушались. Думалось, подкулачников-то — раз-два и обчелся, ан нет, все село подкулачники! Будет работка...»

В Вохрово недавно появился новый секретарь райкома — Чистых Николай Карпович, из молодых выдвиженцев, про него уважительно говорили: «Застегнут на все пуговицы».

Застегнут-то, положим, но на шее галстук, никак не рабоче-крестьянский — интеллигентская висялька.

— Народ против вас. Так что ж это, товарищ Студенкин, вы нас с народом поссорить хотите?..

Попробовал было Матвей прижать его по-фронтальному:

— Ты кровь проливал за революцию? Нет... То-то, вижу, тебе наша революция не дорога, перед подкулачниками потрухиваешь!

Чистых вежливенько отчесал его за партизанские ухваточки, указал на дверь:

— Идите!

И Матвей пошел бродить из кабинета в кабинет, искать правду. Кой-кто из старых работников ему сочувствовал, но грудью прикрывать не собирался.

А потом бродил с места на место: развозил мешки с почтой, подался на лесозаготовки, но там даже на самом низком руководстве требовалась грамота, а иначе бери в руки топор да пилу.

Наконец осел на маслозаводе учетчиком, хоть туго, да считал литры сданного молока, килограммы масла и просчитался — открылась недостача, чуть не попал под суд, хотя ни сном ни духом не виноват. Пришлось завернуть лыжи в колхоз:

— Прими, Пийко.

Ап нет, уже не Пийко, а Евлампий Никитич.

— Приму. Иди конюхом.

А сам же когда-то говорил: Матвею Студенкину поставить в селе памятник.

— Не хочешь, дело хозяйское. Вот бог, вот порог — неволить не будем.

Он, можно сказать, вытащил Пийко из грязи в князи, — кто бы заметил его, если б Студенкин не пригрел в заместителях.

Он много лет работал конюхом. Не Евлампий, нет — тот и не замечал, — а любой бригадиришка из молодых да голосистых мог накричать:

— Поч-чему чересседельники на полу валяются? Почему оброти перепутаны? Рук нет, чтоб прибрать!

В войну бригадировали бабы, тоже командовали Матвеем:

— Эй, дед, закладывай лошадь — сено возить! Да мотню подтяни, не то запутаешься.

И сын Сенька забыл, как отец показывал ему горящую баню. Забыл? Да нет, такое не забывается. Только отцовские наказания не держал у сердца. Убийцы-то Сенькиной матери, скорей всего, сосланы, давно затерялся их след. Сенька рос смирным парнем, к отцу относился с почтением, в колхозе работал с охотой, был призван в армию, в

финскую ранен, вернулся домой, успел жениться, и новая война... А вскоре и похоронная...

Матвей после этого чуть не отдал богу душу, пошел к конюшне да вспомнил, как увидел Сеньку в первый раз — в длинной рубахе, в холщовых порточках, похожее на отощавшего старичка, и не выдержал, упал, подобрали добрые люди... Горевала и Алька, видать это-то и свело их накрепко. Грех жаловаться на сноху — кормила, обиходила, с печи не гоняла. Вот ежели б еще внук остался, нянчил бы, совсем, считай, тогда счастливый. Но внука нет, а нынешние ребятишки не ведают, что дедко Матвей когда-то умел затейливо вырезать рухья из досок...

Плетется Матвей по улице села, даже собаки на него не лают.

Пийко-то... А?..

Он вот жив.

Нет, не старые обиды, не торжество со злобой сорвало Матвея с печи, заставило добаться до крыльца умирающего Евлампия. Давно разучился обижаться и злобиться — выгорело. Вспомнились лучшие деньки в жизни, когда сам Пийко Лыков по его кивку на живой ноге: «Порядочек!»

Пийко умирает... Приполз с ним проститься, с ним и со своим прошлым. Но не пустили, прогнали с крыльца... Что ж...

Палка ощупывает неверную землю, норвящую ускользнуть из-под ног. Шагает старый Матвей к печи... Даже Пийко... А он-то моложе лет на пятнадцать добрых, козь не больше...

Палка ощупывает неверную землю.

ИВАН СЛЕГОВ

Крашенные полы, почти больничной белизны подоконники, стол, уютно стоящий посредине, над столом свисает электрическая лампочка, голая, ничем не затененная. От комнаты ощущение пустоты и простоты казенного места — жилье прославленного по области человека, который ворочал миллионами и не любил отказывать себе в чем-либо. Жилье?.. Председатель дома лишь ночевал, да и то далеко не каждую ночь. Он в пять утра уходил, возвращался затемно. Он здесь гостевал, а жил в стороне.

Сейчас дом пропах насквозь нечистым, почти звериным запахом, как медвежья берлога.

Иван Иванович стоял на своих костылях, громоздкий, приземистый, беспомощно неуклюжий, словно большой черный краб, морское чудо, вытасненный из воды на сушу, изнемогающий от собственной тяжести.

Он почувствовал на себе взгляд Чистых. Давно привык, что на него глядят с сожалением — калека горемычный, — но за готовной услужливостью в круглых прилипчивых глазах лыковского зама уловил тоскливую зависть. Ему, оказывается, еще могут завидовать...

Из-за перегородки вышла жена Лыкова, подавленно поздоровалась с бухгалтером, высохшая, морщинистая, в белом платочке, несвежем фартуке, под которым прятала свои корявые, натруженные бабьи руки. На унылом остроносом лице не видно большого горя, веки, нет, не красны, глаза потухшие, вылинявшие, углубленные в себя, а в фигуре неловкая связанность, как у человека, попавшего в чужой дом. Такая же, как всегда, а муж-то умирает...

Иван Иванович кивнул ей в ответ шапкой, бросил петерпеливый кивок в сторону Чистых: «Веди».

— Сюда. В боковушке он, Иван Иванович.

Костыли глухо стукнули, валенки подмели крашенный пол.

Из открытой двери сильней ударил застоявшийся запах. Иван Иванович не удержался, поморщился. Навстречу поднялась сестра-сиделка в халате, с вязанием в руках. Она поспешно пододвинула свой стул, немо пригласила: «Садитесь».

Но Иван Иванович остался висеть на костылях, утопив глубоко в плечах голову. На лбу под шапкой собрались жирные суровые складки.

Вот он, прославленный Лыков: на подушке выделяется бескровно серый, бородавчато неровный цвет кожи, все рыхлое лицо оттянуто на одну сторону, потончавшие бледные губы, казалось, выражают предельную брезгливость, левый глаз прикрыт веком, в правом проглядывает мутноватая студенистость глазного яблока, в запавших висках копяты тени.

У Ивана Ивановича не было в жизни друзей. Кроме жены, Евлампий Лыков — самый близкий человек, чаще и с кем не встречался, теснее никого не знал. Висит над ним на костылях верный Иван.

— Больше тридцати лет...— произнес он невнятно,— почитай каждый божий день виделись...

— Да-а, друзья,— сокрушенно вздохнул Чистых.— Нынче такое редкость.

— Тридцать лет каждый день, а сказать все друг дружке так и не успели... Кой-что осталось...

Чистых снова вздохнул с почтительным сокрушением. И снова Иван Иванович уловил на себе его тоскливо-завистливый взгляд.

Ему завидовали, а у него давно уже не было будущего, в свое же прошлое он оглядываться не любил.

* * *

Жил когда-то в селе Пожары учитель Семиреченский — из обедневших поповичей,— носил косоворотку и лапти, как пророка почитал поэта Некрасова, днем и ночью, в будни и праздники мог без усталости рассуждать о великой душе русского мужика. Ванюшка Слегов на одном из его первых уроков без натуги решил задачу: «Летело стадо гусей...» И Семиреченский поверил:

— Быть тебе новым Ломоносовым!

Он заставил верить и Ванюхиного отца — «быть ему, отдай в гимназию!» — взялся хлопотать, нашел опекунов, добился-таки, что Ванька Слегов надел тужурку со светлыми пуговицами.

Семиреченский про Ванюхиного отца говорил: «Мудр в своем хозяйстве, как Соломон в государстве». А хозяйство Ивана Слегова-старшего было невелико, и мудрость его умещалась в одной заповеди: «Латай портки вовремя, тогда сносу не будет». Обвалилось прясло изгороди, видел, да рукой махнул — «а-а, потом!». А тут соседская коза влезла, обгрызла всю капусту, зимой без капусты, значит, картошки больше уйдет, значит, пойло корове пожиже, значит, молока меньше, а без недостатка в картошке, без молока, без масла на хлеб расход, того и гляди, до нового урожая не достанет. Малую дырку не залатал, и разрослась прореха в хозяйстве — «латай портки вовремя».

Невелико слеговское хозяйство, земли не больше других, но крепко, опрятно, как молодой грибок боровичок: стожки на пожне огорожены — лось не подступится, лошадь одна, зато гладкая, корова обильно молочная, свиней, овец не густо, но все в теле, а над повестью всегда крыша чинена. Все потому, что латал вовремя, без дела ни минуты не сидел. Правда, после неурожайных лет

поджимались, но опять же семья невелика — не семеро по лавкам, сын единственный. Зато сынок лаптей не нашивал — всегда по ноге сапожки и рубашонки из покупного ситчика.

А уж тут совсем замахнулся — в гимназию!.. Из села Пожары в гимназиях-то одни тулуповские дети учились, тому что — доходы тысячные, сравнить в округе не с кем.

Чужим и неприветливым показался город Ванюхе — земля на улицах забита камнем, дома друг к дружке вплотную, в домах людей полно, а чем люди живы — неизвестно, не пашут, не сеют, а ситный едят, на день по пять раз чай с сахаром гоняют.

Жил у одинокой Пелагеи Клюквиной. Пелагею девкой вывез из Пожар бывший офеня, от короба с бусами да сережками дотянувший до собственной торговли льном и холстами. Задолго до приезда Ванюхи он умер, вдова жила в просторном доме, к новому жильцу была ласкова.

Первое время сильно тосковал, вспоминая: съезд с повети бревенчатый, между бревнышек трава сочится, весной черемуха цветет, по утрам под петушиный крик колодезный журавель начинает кланяться...

К учебе в гимназии он подошел с отцовской заповедью — латай вовремя, не откладывая, что наказывали выучить, помни, что ешь хлеб Пелагеи не задаром, отец ей платит, на квасе сидит. Учился хорошо, стал книги читать, удивился тургеневскому Базарову, который гордился: «Мой дед землю пахал». «Эва, дед, а у меня отец и до сих пор пашет!» Сошелся с товарищами, те тоже читали Тургенева, уважали Ванюху: «От земли человек». А домой тянуло: «Меж бревнышек травка сочится...»

И в первый же приезд в Пожары день порадовался, потом оглянулся, и разочаровало родное село. Сам город, где он учился, был тих, горбатился сорными булыжными мостовыми, а уж в Пожарах-то и совсем обычай вятичей и родимичей (узнал о них в гимназии): ребятишки бегают без штанов, в одних посконных рубахах, землю ковыряют прадедовской сохой, мужики, сходясь на завалинках, тянут одну постылую песню: «Ох, плоха наша земля, никудышна — силушку жрет, а не родит».

Местные земли и на самом деле считались незавидными — подзол да суглинок, кой-где пополам с песком.

И все-таки с наслаждением сбрасывал куртку со светлыми пуговицами, косил, метал стога, помогал отцу подымать паровище. Соседи завидовали: «Всем парень

взял, в умом, в крестьянской сноровкой». Отец раздувался от похвал, но одергивал сына:

— Не лезь, без тебя управимся. Не для того учим, чтоб руки навозом пачкал.

Увозил Ванюха в город отцовское бесхитростное понятие о счастье — трудись, чтоб прорех не было, делай вечером то, что мог бы отложить на утро. И вот тогда-то каждое утро будет тебя встречать: все налажено, все на месте. Капуста на огороде топорщится — матовые, хрящевато негибкие листья чуток за ночь подросли. Подсвенок в закутке довольно похрюкивает — сыт, стервец, за ночь нагулял золотник жирка. Корова мычит со стоном — вымя тяжело... Утро, слава тебе господи! Жизнь идет, и жизнь без прорех, с подарочками, которые не сразу-то и заметишь. Покой — дорогой, душа поет, умытому солнышку радуется.

Только в самом селе нет покою и ладу, кругом жительство серенькое, дерганое, толки и перетолки только о прорехах: то дождь обошел — хлеба сохнут, то дождь подвалил — сено погнило, то овцы паршивеют, то корова брюхо проколола, а то и прямо беда — лошадь пала, кормилица, вой в доме, как по покойнику. А чаще всего о земле: «Ох, плоха! Ох, никудышна!..»

В городе Ивану попала книга Лекутэ «Основы улучшающего землю хозяйства», в переводе Энгельгардта.

«Плоха земля, не родит...» Ой ли?.. Ежели она питает могучие леса, то уж человека пропитать как-нибудь сможет, сумеи из нее взять.

Иван штудировал Лекутэ.

Ему исполнилось семнадцать лет, когда загредело по стране:

Это есть наш последний и решительный бой!

Село жило как в осаде. Мир, вставший дыбом, обложил со всех сторон Пожары. Голодный, тифозный, озлобленный, время от времени этот мир засылал, продотряды — небритых, угрюмых, напористых людей с винтовками и наганами.

• — Показывай, где хлеб?

И откидывались крышки погребов, выворачивались половицы, разметывались укладки сена и прошлогодней соломы.

Село робко пряталось по избам, с тоской молило: «Пронеси, господи, лихую напасть!»

Иван сразу же после революции бросил гимназию. До нее ли — потянуло домой, к земле.

К земле! — звало Ивана воспоминание об отцовском покойном счастье. К земле! — звал читанный и перечитанный Лекутэ. К земле! — звало и гордое:

Это есть наш последний и решительный бой!

«Последний и решительный...» Но последний ли? Разве не придется воевать с пожарской землей? С винтовкой на эту клятую землю не пойдешь. Не всем стрелять, кто-то и пахать должен. До сих пор те, кто читал Лекутэ, сами не пахали и не сеяли. А кто надрывался на пахоте, не только Лекутэ, календарей не читали.

Будь жив учитель Семиреченский, он бы понял Ивана, а отец встретил его с вожжами в руках:

— Пахать-то и без гимназий можно! Для того я, дурак, на квасе сидел...

Иван отобрал у отца вожжи, отец заплакал.

У старого Слегова все шло вкривь и вкось: мобилизовали лошадь, оставили кобыленку недоростка, забрали хлеб по разверстке. «Латай портки вовремя...» Где уж... И на вот — сын, последняя надежда, отказывается учиться, вернулся на насест, значит, будет, как все, мужиком, быдлом, косолапой деревенщиной. А думалось — не отцовская доля, выбьется в люди: «Не пачкайся навозом, сокол ясный, береги себя, тебе высоко летать».

Прилетел, кукарекает:

— Хочу пахать землю!

От сплошных огорчений отец как-то круто свернулся, три месяца поболел и умер, а за ним и мать слегла на печь, тихо угасала...

Зимними вечерами село вымирало. Мужики ненавидели все — и новые песни, и новые речи, и новых людей в трепаных шинелях и колушках, перепоясанных паганами, ненавидели разоренного богатея Тулупова, ненавидели друг друга, прятались по избам от злой вьюги, от чужого лиха. Эхма, от продрозверстки бы спрятаться!

Будь жив учитель Семиреченский, он бы объяснил. Теперь Ивану приходилось дозревать один на один.

На лавке торчком круглое полено. В него вбит нехитрый железный светец, в огне корчится лучина, роиет угли в щербатый горшок с водой. По бревенчатым стенам бесшумная, натужная война — свет лучины воюет

с мраком, шевелятся конопаченные пазы, и кажется, что потолок то подымается, то опускается до макушки.

В городе он, где мог, понахватал книг, были сборники Безобразова и разрозненные журналы «Отечественных записок», Дюма и Лажечников, «Князь Серебряный» и «Заратустра» Ницше, Чичерин «Собственность и государство» и Зибер «Рикардо и Карл Маркс». Хранил кой-какие работы Тимирязева... Но самой большой ценностью оказалась недавно приобретенная брошюра Ленина — «Государство и революция». Ее-то и листал при свете лучины, как в окно, заглядывал — в будущее.

Как в окно... На низенькие оконца слеговской избы вплотную завалился тревожный мрак, выл ветер, мел снег. И где-то в этом полуночном лешачьем вое, в бесконечной метелице кружились обезумевшие люди, стреляли друг в друга, умирали от голода, от сыпняка, от морозов. Беспросветный мрак за низенькими оконцами, не жалкой лучине пробить его. Лучина освещает раскрытую брошюру, а там ясная картина:

«...Люди постепенно *привыкнут* к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях правил общежития, *без особого аппарата* для принуждения, которое называется государством».

Неужели привыкнут?..

Иван отрывается от строчек, пляшущих вместе с неверным пламенем.

Привыкнут?..

Он знал пожарский мир, знал в нем каждого человека. Еще недавно все перегрызлись, когда делили тулуповские земли. Петр Гнилов, отец пятерых сыновей, борода сивая от седины, бросился с колом на Митьку Елькина. Теперь вроде и земля особенно не нужна, что ни посеи — отберут по подразверстке, за нее не только в колья, но спорить лень. А Гнилов и Елькин до сих пор готовы друг дружке клок из горла выхватить. И такие-то привыкнут без принуждения мирно жить, честь честью блюсти вежливые правила? Что-то не верилось.

Но потому-то и раскололась страна — одни верят, другие нет, одни глядят вперед, другие назад. Ты что, Иван, назад норовишь, тебя к старому тянет?..

Гуляют беспокойные тени по бревенчатым стенам, сердитая лучина воюет с мраком, и ветер воет снаружи...

Обратно в старое, где когда-то пригревало нехитрое отцовское счастье: «Латай портки вовремя...» Что скрывать — как вспомнишь, теснит сердце: капуста топорщит хрящеватые листья, подсвинок сыто похрюкивает, корова мычит со стоном — музыка! Живи, не заглядывай далеко, трудись честно, не станет сил трудиться, лезь на печь, жди смерти. Неужели только-то и надо человеку, чтоб отбыть свой срок на белом свете? Так просто отбыть, оставить детей, чтоб и они отбыли положенное. Чем тогда человек отличается от крапивы, от куста калины под изгородью? Той калине тоже век отмерен, она тоже семя бросает, чтоб рос, отбывал срок новый калиновый куст.

Мир у отца был от задворок до калитки, Иван чувствовал — уже никак не уместается в нем.

«Люди постепенно привыкнут...» Надо верить, иначе жизнь бессмысленна. Любая человеческая жизнь, и его, Ивана, и Петра Гнилова, и Митьки Елькина — всех в Пожарах, всех на всей круглой земле.

Но ведь прежде чем новая привычка росточком проклюнется, надо вырубить старый лопушник.

Весь мир насилья мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим —
Кто был ничем, тот станет всем!

Ленин в упор указывает — частная собственность!
Вот зло!

Иван и прежде где-то нутром это чуял. Мое, кровное — не трожь, зубами вгрызусь! Как ни просторна Россия, но вся разгорожена — то твое, то мое, и кому-то не хватало, кто-то оставался без доли. Из века в век так было, только теперь полыхнуло против этого волчьего — мое, зубами!.. Из века в век, с глухой древности впервые — ты угадал родиться.

Ни мое, ни твое — общее. Как просто! И не хотят понимать, льется кровь из-за этого. Он, Иван Слегов, бывший гимназист, мужицкий сын, кровь свою не пролил за революцию. Он хлебороб, а хлеб наш насущный выращивается не на крови.

Свет лучины, неровный, больной, горячечный. Как бред тифозного. И раскрытая брошюра на светлых, радужными радугами плывут мечты.

«Люди постепенно привыкнут...» — общая земля, общая забота! Раньше кому какое дело, что Ванька Сле-

гов читал Лекутэ, для себя читал, для своей корысти. Теперь твоя башка в артели, твои мозги общие. Разве это не счастье — себя перед другими наизнанку вывернуть? Все, что знаю, — ваше, люди добрые! Еще школу особую заведу в Пожарах, мужицкие дети станут читать Лекутэ.

Вы все сейчас нищи, прячете друг от друга жалкие копейки в чулки, в кубышки, на дно сундуков под бабкины поневы. А рассудите, если эти копейки выпнуть, сложить в один карман — уже богатство. Не на пьянку, не в кабак — купим машины, заставим их работать. Машины непременно родят новые машины, на автомобиль сиволапый пожарец усядется, коней для красы, для уважения держать будем — тоже потянули лямку, пусть отдохнут. И есть такая вещь, как электричество, она ночь в день повернет... Молочные-то реки и кисельные берега, право, не сказка с издевочкой, не смейтесь!

Пусть не сразу, пусть не скоро, но наступит час, когда все оглянутся и признают — с Ваньки Слегова началось! В селе Пожары мир до него — тот мир, что умирает сейчас при свете лучины! — будет так же походить на мир после него, как малярное болото на райские кущи.

Воет ветер, заносит снегом село. Каждая изба — берлога, люди прячутся друг от друга, боятся стука в дверь, а не ведают, что уже стучится, да, сейчас, да, в лихую темень, ко всем стучится их счастье.

В Пожарах только он, Иван, слышит этот стук. Жаль, учитель Семиреченский не дожил — слушали бы вместе, было бы теплей, не так одиноко.

Лежит на столе раскрытая брошюра, обещающая: вот забросят винтовки, сделавшие свое дело. И тогда «люди постепенно привыкнут...».

Пляшущий свет лучины освещает стол, свет лучины, одной из последних в России.

Молочные реки не сказка, не смейтесь, люди!

По продрозверстке у него, как и у других, отобрали хлеб, оставили только на семена. Тянул к весне на картошке. Мать до весны не дотянула, схоронил на погосте, поставил, как просила, крест. И тут спохватился — нельзя жить только мечтаниями.

В ростепельный мартовский вечер Иван пришел к Антипу Рыжову с бутылкой первача в кармане.

— Породнимся? Отдай за меня Маруську.

А чего бы Антицу не породниться, чем Ванька Слетов плох — не богат, но собой виден, в работе сноровист и даже в гимназиях сидел.

Антип Рыжов, рослый мужик, на широком лице черти горох молотили, опрокинул стакан первача, крикнул, по-вюхал корочку:

— Эй, Манька!

И она вышла на обманчиво веселый огонек светца: по белой кофте сполохи неверного света, заплетенные туго косы под матицей, мрак бровей под чистым лбом, да пьяной влагой блестят глаза. Пригнула голову, спрятала лицо...

Антип ухмыльнулся:

— Ишь, кобылка, тут как тут.

В приданое Маруська получила годовалого жеребенка. В хозяйстве Ивана оказалось две лошади. А на что две, когда и с одной пока справляется, как справлялся отец: «Латай портки вовремя...»

Раскрыл ей, кто он такой — поводырь в сказку, к молочным рекам.

Она покорно поверила, раз верил он.

Она-то поверила, но должны поверить и люди. Докажи делом! Не просто — на это, пожалуй, уйдет не один год.

Земля еще пресно пахла талой водой. По стерне монахи гуляли грачи, ждали первой борозды.

Первая весна в новой семье.

Он взялся за ручки плуга, сказал озабоченно:

— Ну, лиха беда начало.

Из-под лемеха отваливались сытые куски. Грачи выстроились растянутым дугом. Спину его провожали счастливые глаза Маруси.

Первая борозда. Обоим верилось, что она уведет далеко-далеко, и не только их.

В эту весну он совершил дерзость — кто б из мужиков на такое осмелился! — лошадь сменял на поросенка. А расчет оказался верным. С тех пор начал богатеть.

Матвей Студенкин привык смотреть на белый свет сквозь прорезь винтовки.

Он, Иван, по-своему уважал Матвея, голосовал бы обеими руками за памятник ему, но Матвей лег бревном на пути...

Верил: не твое дело толкать это бревно, люди сами спихнут, а он, Иван, не спешит, он молод, ждать может, жизнь-то только началась. Он верил и ждал...

Любил и берег коней — эх, серы кролики! — но отвел их в коммуну. Коней, корову, свиней. Что еще? Рубаху с плеч? Готов! Его даже не особо огорчило, что Матвея Студенкина выбрали в руководители.

Поживем — увидим.

Его назначили заведовать живностью коммуны. А вся живность, считай, — в его бывшей свиноферме. За какой-нибудь год-два он так развернет свое дело, что все кругом ахнут от удивления.

Поживем — увидим!

Но с первых же дней неприятность. Пригнали обобщественных бедняцких свиней, хребтисто тощих, в коростах от неведомых болячек, в свежих ранах от недавних драк — лютое, визжащее зверье.

Приказ:

— Размещай!

— Куда?

— Как — куда? К твоим.

— Рядом с породистыми-то?

— Эва, твоим курорт, а наши, бедняцкие, — в канаве. Своих отличаешь! Кулацкое нутро взыграло?.. Мотри!

И попробуй докажи, что этих коростяных, чесоточных нельзя и на версту допускать до породистых. Дешевле их выгнать в лес подальше.

У Ивана на год вперед, до нового урожая, было заготовлено и муки, и картошки, овса и круп с избытком, чтоб стадо жирело и плодилось. Но нагнанная свора оказалась прожорливой. В них, как в прорву, — жрут, гадят, а глаже не становятся.

Весной приказ от Матвея, обухом по голове:

— Передать излишки кормов со свинофермы конюхам.

— Излишки? Где они?

— Не рассуждать! Передавай что есть.

Все в коммуне одобряли Матвея: на лошадях-то пахать, а на пустое брюхо они плуги не потянут, эка беда, ежели свиньи и потощают чуток.

В тесном свинарнике — голодный вой, страшно войти, породистые и те стали бешеными.

А от Матвея новый приказ:

— Выделить трех свиней на убой!

Опять верно, надо кормить не только лошадей на пахоте, но и самих пахарей.

Иван наметил на убой не трех, а пять свиней — не из породистых, из сброда. Туда им и дорога, несколько не жаль — меньше ртов, легче прокормить.

Но как только стало об этом известно, поднялся вопль:

— Это что же, трудящемуся человеку — кусок пожестче, мягкий жадуешь?

— Свое добро бережет!

— Нутро-то кулацкое!

— Не финти, Ванька, режь тех, что пожирней.

Иван пробовал втолковывать, обещал — лошадей новых купим, плуги, машины, дайте только сохранить свиней, только они дадут доход в звонкой копеечке, помимо них коммуне рассчитывать не на что.

Сули орла в небе... Когда-то этот доход будет, а мясом полакомиться и сейчас можно. Прежде слеговская свининка уплывала на сторону, теперь — шалишь, наша, «обчая», чего цацкаться.

Поживем — увидим.

Трезво оглянуться — это грабеж, дикий, необузданный.

Земля наша — не твоя, потому не усердствуй особо. Свиньи — наши, не твои, — чего их жалеть, режь! Не твои лошади, не твои коровы, не твой инвентарь. И ты, как в крепком хмелю, — зачем думать о завтрашнем дне, живи минутой!

Матвей Студенкин сидел в окопах, валялся в тифу, лил кровь, он не жалел себя, чтоб отвоевать новую жизнь. И отвоевал! А теперь не жалел отвоеванного.

Иван заговорил было во весь голос:

— Куда катимся? Опомнитесь! Революцию в навоз втаптываем! Жизнь это или издевательство?

Кой-кто с опаской его слушал и, должно, соглашался. А кто-то сразу затыкал ему рот:

— Эва! Это ты-то революцию спасаешь. Помним — каких коней имел. Тебе назад любо,

Коней ему припоминают, тех, что добыл своими руками, а потом сам отвел, не пожалел. Стыдись их, они на тебе Каиновой печатью.

Никто его не поддерживал — молчали. Замолчал и он.

— По утрам он разносил жидкое пойло, свиньи встречали его голодным ревом.

Он продал свои фетровые бурки, чтоб купить пять мешков мякины для свиней. Фетровые бурки — ложкой море не вычерпаешь.

От жены он ждал попреков. Должна бы попрекать — обманул же: расписывал себя пророком, попал к свиному корыту.

Маруся — ни слова, молча билась вместе с ним, лазала с пестерем и серпом по чужим огородам, жала для голодных свиней крапиву, запаривала, нянчилась с сосунками, выносила ехидную бабью жалость: «Болезная ты, мужик-то у тебя умом тронутый... Какое хозяйство ну-тка на распыл отдал...» Руки ее были жестки и корявы, сама похудела и почернела, от глаз потянулись морщины. И старых нарядов она уже не надевала, шелковая шаль, в которой когда-то выезжала на серой паре, лежала на дне сундука.

Однажды в масленицу, в морозный ясный день, когда солнце освещало пышное кружево заиндеветых берез, она увидела вышедшего на крыльцо Ивана в подшитых валенках, в старом заскорузлом колушке и заплакала. Вспомнила недавно проданные нарядные бурки, обшитые желтой кожей, вспомнила, как в такие дни, празднуя масленицу, они катались по селу на серой паре: «Э-эх! Серы кролики!»

Иван стоял пришибленный, не знал, чем успокоить, не находил слов. И вдруг — диво! — вместо того чтобы от него ждать успокоения, она сквозь слезы стала успокаивать сама, нашла слова:

— Ничего, Вапечка, жизнь-то она ровно не идет. Перетершим, масленицы дождемся.

Сквозь слезы, виновато улыбаясь дрожащими губами.

А в голубой путанице закуржавевших ветвей застряло желточно переспелое солнце, по подрумяненному снегу тянулись синие тени.

Иван сжал зубы, чтоб самому не расплакаться, приказал:

— Иди, надень шаль... Ту... шелковую... Ради праздника.

Матвей Студенкин — колода на пути. Даже ребятишкам в селе ясно — Федот, да не тот. Но что ни день, то крепче его власть — получил право указывать перстом:

этого раскулачить и выслать, этого, этого!.. На Ивапа не ткнул, но задеть задел. Маруся рыдала, билась головой о стену, лежала разбитая. Иван боялся — подымется ли Маруся на ноги, ездил в Вохрово за врачами. Она поднялась, пошла жать крапиву для свиней.

После того Иван пришел к Матвею, положил на стол заявление:

— Вот. Ухожу из колхоза.

Матвей ухмыльнулся:

— Уж так просто — ухожу. От раскулачивания увильнул, за коммуну спрятался, теперь — хвост трубой да на сторону. Шалишь, Ванька!

Тогда-то Иван решился: все молчат, а он скажет.

Сказал...

Эхом откликнулись люди.

Откликнулись... Казалось, тут-то и должны бы вспомнить все, что он сделал. Доверьтесь, силу и душу отдам без остатка!

Вспомнили об Евлампии Лыкове, ему доверились — он понятней, он свой, ты — белая ворона.

Мальчонка, один из лыковских племянников, в первый раз привез с маслозавода сыворотку для свиней.

— Принимай, дядя Иван.

Об этой сыворотке шла долгая переписка с районом, извели пуды бумаги — улита едет, не скоро будет. И вот улита приехала.

Лошадь у паренька была крупная, грязная, под ливнялой шкурой туго выпирали ребра, голову держит понуро. Иван подошел, чтоб помочь парнишке, и вдруг лошадь подняла голову, обдала влажным взглядом и тонко-тонко, с тоской заржала. Он-то не узнал, а она узнала... Один из двух серых лебедей — копыта разбиты, бабки вздуты, брюхо в коросте грязи, и влажный взгляд, и тоскующий плач по прошлой жизни, по теплому стойлу, по ласковой руке хозяина, сующей в бархатные губы куски сахара.

Он любил своих лошадей, гордился ими... Он никогда не заглядывал в общественную конюшню; если видел серых коней на дороге — отворачивался, боялся разбередить душу.

И вот нос к морде, глаза в глаза столкнулся... Конь первым признал его...

Ночью не спал, лежал с горячей головой, видел пе-

ред собой влажный, предапный, тоскливый глаз, а в ушах — тихое, проникновенное, призывно-жалобное ржание. Коныта разбиты, бабки вздуты, ребра что обручи, проведи палкой — загремят.

Довели... Так-то, Иван, и тебя изъездят...

А утром — пасха, печные трубы источали запах сдобных куличей. Церковь недавно закрыли, против церковных праздников шла напористая агитация, но праздновали все — верующие и неверующие. Кто по русской привычке откажет себе лишний раз выпить да повеселиться?

Село праздновало пасху, бабы, выскакивающие на крылечки, полыхали яркими поневами.

Иван с женой разносил пойло свиньям.

Вечером горела лампа с надтреснутым стеклом, освещала начищенный рюмчатый самовар, блюдо с горшечного цвета крашеными яйцами. За черным окном моросил мелкий дождь, никак не пасхальный. В сырой темени пиликали гармошки, доносился резаный крик пьяной бабы и вызверевшие от самогона голоса.

Они вдвоем сидели за столом. Маруся, старательно причесапная, в чистой кофте, а лицо желтое, усталое. Им даже не к кому пойти в гости. Принято ходить к родне, а родни-то в селе у них не осталось — отец и мать Ивана померли еще до коммуны, Матвей Студенкин освободил от родни Марусю.

Пиликают за окном гармошки, чужое веселье идет стороной, они вдвоем с глазу на глаз, никто не вспомнит, никому не нужны. А завтра снова придется отбиваться от озверевших с голодухи свиней, и завтра, и послезавтра, и на третий день, без конца — в тупике жизнь, в тупике мысли, давящее молчание за столом.

— Иван... — У Маруси в тени под бровями нехороший, блуждающий блеск, голос придушенный: — Иван, сходил бы ты... Разыскал деда Бляху, что ли...

Он внутренне содрогнулся от ее голоса:

— Зачем?

— Все гость у нас будет.

Не было презренней человека на селе, чем старый, без роду, без племени, выживший из ума бобыль Бляха. И за плечами у него — помогает чистить нужники. Косноязычен, грязен, умом убог, робостью пришиблен. И такого-то за стол, вот уж гость от великого отчаяния,

— Маруся, ты в своем уме?

— А что тут плохого?

— Выходит, нам вдвоем плохо?

— Сиротливо, Ванечка, сам чуешь. Теплей станет, когда одно сиротство к другому прислонится... Не перечь, сходи за стариком, Христом-богом молю.

Они привыкли друг друга слушаться. Она просит, отказать не смел — поднялся в смятении...

Окна изб были по-праздничному освещены, в них кацались тени. Но яркие окна не разгоняли сырой тьмы, напротив — от них она казалась еще гуще, жирней. И шел укрытый темнотой праздник — перекликались гармошки, чавкали сапоги по грязи, пробивалась сочная матерщина, и все еще резано кричала пьяная баба.

Вспомнилась вчерашняя встреча с лошадью — разбухшие бабки, влажный тоскливый взгляд, тихое, выворачивающее душу ржание. Не будущее ли его это? А может, сегодня уже так выглядит? Маруська за гостем послала, за Бляхой... Сломалась!

А кругом пьют, веселятся, дерут мехи гармошек — что он для них.

Любил их, себя предлагал и оптом, и в розницу — берите, не стесняйтесь. Один Матвей Студенкин — колода?.. Ой нет, каждый! Весь путь из непролазных колод, не мечтай пройти — ноги сломаешь.

Он шел, прижимаясь к изгородям, чтоб не ступать по грязи, лез в сырую темноту, заполненную звуками чужого праздника. Стояла перед глазами лошадь с понурой мордой, с тоскливо любящим влажным взглядом. А дома под лампой сидит сейчас Маруся — причесанная на пробор, в выглаженной кофте, с желтым, усталым лицом. Он не только собой, но и ею бросался — берите, жертвую, ничего не жалею. Маруся! Маруся!.. Ради кого?..

Выгнанный из дому, Иван вдруг почувствовал буйный приступ отчаяния — вот-вот рухнет на землю, начнет вопить и корчиться в грязи. Не-на-ви-дит! Себя! Всех! Весь свет, кроме одной жены, чью жизнь он пустил на размен! Ненавидит! Обворовали, сволочи, выхолостили, горло бы рвать каждому!..

Из проулка, веющего колодезным мраком и сыростью, заревела гармонь, стала надвигаться. Темный воздух сотряс сиплый голос:

Я на Дуньке верхом —

Ножками качаю.

При колхозе можно жить,

Сталина не хаю!

Промесили грязь плотной кучей, пахнувшей избяным теплом и сивухой. Новый голос, молодой, певуче въедливый, выдал на отдалении:

Заграницу обгоняем,
Хлещем, выпучив глаза:
Пропадай моя телега,
Все чот-тыре колеса!

«Вот они, на кого разменял себя и Марусю! Им плевать, как пойдет жизнь, плевать, будут ли сыты, плевать, как после них станут жить дети, даже в этих пьяных песнях они издеваются над собой. А на тебя им и подавно наплевать. Только юродивые в ответ на плевки утрутся и с поклоном благодарят. Ты — юродивый для них!»

В истощенный ненавистью мозг пришла простенькая мысль. Пьяное ночное село навело на нее, визгливые вопли бабы, на которые никто не обращал внимания. Ежели в такой вечер кого убить — кто удивится? В такой вечер все возможно.

В другое время эта случайная мысль мелькнула бы и исчезла, как тысячи других нелепиц. Сейчас засела занозой, стал отгонять ее, продирался вдоль изгородей вперед, к окраине села, где стояла на отшибе, задом к полям, маленькая, как банька, изба горького бобыля Бляхи.

Он позовет Бляху, он усадит его за стол. Может, Маруся права, в ней бабья мудрость — в таком вот сиротливом бобыле Бляхе и живет человечье. Пусть завтра все село начнет издеваться — вот, мол, сошлись Ванька Слегов и золотарь Бляха — два сапога пара, ха!

Вышел за село. В лицо с невидимых, спрятанных в ночи полей ударил густой и влажный ветер. Там, за толщей ночи, стоит колхозная конюшня, сооруженная из старого овина. Наверняка возле этой конюшни никого нет. Конюхи пьянствуют в селе.

Случайная мысль не давала покоя. Она росла в голове, как рыбка в теплой луже.

Убить или поджечь — кто удивится! Все возможно. Конюшню поджечь, перед самой посевной. Пийко Лыкова возьмут за жабры, а в колхозе новая карусель. Ненавидит! За оплеванную жизнь, за рев голодных свиней, за Марусю, сидящую сейчас под лампой с желтым лицом, — за все!

Дул тугой, влажный ветер навстречу, за спиной гуляло село, забывшее о его существовании, там затерянная, одинокая Маруся. Она-то, может, готова простить, но он

уже прощать не хочет. А ночь все покроеет... А завтра он снова положит на стол заявление: не могу с вами, сплошные непорядки, и зачем я вам, я, читавший в гимназии Лекутэ, выписывавший журнал «Сам себе агроном», создавший в округе лучшую свиноферму... Как знать, спохватятся, да поздно! Перегорел!..

Искрились картины, одна другой злорадней. Иван впервые за последние годы снова почувствовал себя сильным, дерзким, способным на отмщение. Долго страдал от своей доброты, не хватит ли?..

Он только тут ощутил, насколько тяжела его пена-висть. Не под силу носить ее, жить с ней изо дня в день, притворяться покорным, разносить свиньям пойло. Рано или поздно прорвется, это может случиться среди бела дня, без его воли, без его желания. Так не лучше ли сейчас, пьяной ночью, когда все возможно. Другой такой случай не скоро представится.

Руки сами стали шарить по карманам, искать спички.

Если б под рукой не оказалась коробка спичек... Наверно, он бы повернул домой, наверно, потом сам испугался бы дикой минуты, с годами пережил свою ненависть, и жизнь пошла бы иначе. Коробок спичек... Он отыскался: часа два назад Иван в свинарнике зажигал фонарь.

Сжимая в кулаке коробок, Иван ощупью по бровке грязной дороги зашагал в поле, испытывая зябкое, обессиливающее томление — за все! Сами постарались, чтоб стал врагом...

Он уходил в ночь от села, переборы гармошек становились все глуше и глуше.

Тьма и полевая тишь. Сыплет дождичек да налетает ветер, ночь похоронила пьяное село. В черном, как сама земля, небе не увидел, а скорее почувствовал вознесшуюся крышу. Сквозь дощатые ворота слышался мирный стук, то лошадь ударяла копытами о настил. Там и его кони...

И опять вспомнилось — уроненная морда, влажный взгляд в душу, нечеловечья жалоба... И их вместе со всеми?.. Подавил жалость — им-то и подавно смерть избавление, самому хозяину жить неведомому...

На всякий случай окликнул сколовшимся от волнения голосом:

— Эй, кто тут живой?

Молчание, вздох рабочей коняги.

— Эй, дрыхнете, черти! Максим! Степап! Кто нынче дежурит?

Ворота не заперты, даже чуть приоткрыты, манят черной щелью. Ну и порядочки, любую лошадь уводи в овраг. Конюхи Максим Редькин и Степан Зобов и в будни-то не любят торчать по ночам в конюшне.

Что ж, Иван, неудавшийся вождь села, берись за полуночное дело.

На секунду пришла трезвая мысль: «А не бросить ли, к чертям, затею!» Бросит, унесет с собой ненависть, та станет жечь: был случай, да упустил. Тряпка ты, Иван, потому-то тобой и помыкают.

Где-то тут должно быть сено. Так и есть, неразобранный воз мок под мелким дождем. Разгреб сверху волглое, кислотовато пахнущее, добрался до сухого, стал охапками носить под угол, под дверь. Прижатое к лицу сено щекотало ноздри залежалыми покойными запахами тмина и медовой кашки, сохраненными с лета.

Рука сжимает коробок. Одна спичка — и займется, ровный ветер с поля будет пагнетать огонь на бревенчатую стену. А бревна овина старые, выстоявшиеся.

Встал перед сеном на колени, согнулся, прикрывая собой от ветра сложенные лодочкой руки. Ну, с богом...

И рука окостенела на коробке, стиснуло грудь, съежилось до ореха сердце, на ознобленной голове под шапкой вспухли волосы.

За спиной явственно прошуршало, кто-то толкнул дощатые ворота, потревожил брошенное под них сено. Вкрадчивые шаги... Нет сил обернуться. Шаги замерли. Кажется, дышат прямо в затылок. Потная рука с хрустом сдвинула коробок...

Хотел вскочить... Обрушилось на спину — похоже, бревно, тупое, тяжелое...

Сено колюче встретило лицо...

Считали: он прозорлив, как никто, видит на пять лет вперед, на аршин под землю. А не рассчитал простого — пьяного праздника боялся и сам председатель Лыков, и раз уж взяли его за душу опасения, то первая мысль — конюшня. Положиться на конюхов нельзя, Максим и Степан отцов родных на смертном одре побросают, коль учуют, что спиртным пахнет.

Евлампий их отпустил — гуляйте, — сам устроился спать на сене в яслях.

Его разбудил окрик:

— Эй, кто тут живой?

Не ответил, стал осторожно выползать из ясель. Можно бы и не осторожничать — кони фыркали и шуршали сеном.

У ворот в углу стояли свежие заготовки для оглобель. Одну из них, еще хранящую тяжелую влажность живого дерева, Евлампий и опустил на спину Ивана.

Кляня в бога и мать кулацкую сволочь, святую пасху, конюхов, вслепую отыскал дугу, оброть, хомут, чересседельник, вывел лошадь, ощупкой запряг ее, завалил в телегу размякшего, бесчувственного Ивана и повез по непролазной весенней грязи за пятнадцать километров в Вохрово, в больницу.

Едва отъехал от села, как на тычках да ухабинах Иван пришел в себя, стал надрывно кричать:

— О-о! До-бей!.. О-о-о! Мочи нет!.. Добей, ради бога!

— Заткнись, контра!

— До-обей, гад!.. Будьте вы все прокляты! Будьте трижды прокляты, сво-о-олочи!!

Вопли и проклятия разносились по темным, сырým, неуютным полям. Евлампий Лыков нахлестывал лошадь.

Оказалось — перебит позвоночник, отнялись ноги. Ивана упрятали в жесткий гипсовый панцирь от паха до подмышек.

Стояли славные солнечные деньки. Из больничного садика лезла в открытое окно яркая весенняя зелень. В селе, должно, суета, дым коромыслом — сев в разгаре.

Идет сев, а ему плевать, понимал — он человек конченный. Ежели даже и вылечат, и ноги снова оживут, то топтать им придется уж не зеленую землю, над которой хотел властвовать, а казенный пол тюрьмы. Попытку поджога ему не простят.

Просил врачей и сиделок:

— Жену пустите.

Просил каждый день:

— Жену...

Другого желанья не было.

А его берегли после операции — обращались ласково, мерили температуру, кормили с ложечки теплым бульоном, сходились над койкой по несколько человек, рассуждали озабоченно. Может, потому и Марусю не допускали — вдруг да сильно разволнуется, не на пользу пойдет. Станный, однако, народ — берегут, чтоб потом в тюрьму упрятать. Наказывали бы сразу, раз контрой стал, чего глупые церемонии разводить, хлопот меньше, да и дешевле.

От безделья лезли в голову покаянные мысли: «Эх, не умно сорвался, на черта их конюшня сдалась, без фокусов рано или поздно убраться мог, живите как хотите, я — сторона...» Но если прикинуть, куда бежать-то, на какие земли? Теперь всюду порядки одинаковы...

— Жену пустите.

Дадут ли поглядеть на родного человека, на единственного?

Дали...

Однажды днем задремал, уставши от пустопорожних мыслей, проснулся от того, что кто-то смотрит в лицо. Открыл глаза и вздрогнул под гипсовой жилеткой — она! Не домашняя, не знакомая, в больничном халате, лицо усохшее, нос острый, в глазах покорное страдание, как у подбитой птицы.

— Ванечка, кровинка моя...

И, словно в яму, стал валиться, потемпел в глазах ясный день. Как сквозь стену, бился пойманной чайкой ее голос:

— Лихо ты мое горькое!.. Да что с тобой?.. О господи! Кто тут? Где доктор-то?..

Но он уже пришел в себя:

— Не надо, не зови никого.

И, не скрывая выступивших слез, сказал счастливо:

— Думал, не увижу никогда.

— Куда я от тебя денусь? На веки вечные веревочкой связаны. Неразлучный ты мой!

Он взял ее грубую, в черных трещинах и ссадинах руку, прижал к небритой щеке:

— Связаны не на счастье, выходит.

— И не смей, не смей! Какие слова говоришь!.. Как только язык повернулся!

Он прижимал к щеке ее руку и глядел в глаза. Глаза тревожные, сухие, опаляющие страданием.

Знает ли? Как не знать. Поди, по селу давно звон стоит, на нее пальцами тычут — сучка каторжная... И прощает, как всегда.

Но нет, она ничего не знала, осторожно, чтоб не разбередить, спросила:

— Кто же это тебя, Ванечка? Какая зверина?

— Кто?.. А разве не известно?

— Евлампий Никитич рассказывает: за Пашутиным домом на задах тебя нашел. И как это тебя туда занесло?.. Клянусь себя, распроклятую, что толкнула из дому.

— За Пашутиным?.. На задах?.. Чего он комедию ломает?..

Не знает она, не знает и село, иначе бы донесли, уж не постеснялись. От повсей тайны заметался в гипсовых оковах:

— Чего он молчит?.. Чего ему, подлещу, еще от меня надо?..

— Кто, Ванечка? Гос-поди! Кто?!

— Не спрашивай! Потом! Только не сейчас! Потом все узнаешь! Сама!.. Только теперь не спрашивай!..

— Молчу, молчу. Ради Христа, утихни. Не казись, и так сердце разрывается.

Он не сразу успокоился:

— Что ему? Не пойму, что еще?..

Глаза ее потемнели, взгляд стал тяжелый, сильно, видать, хотела знать, но не допытывалась, только гладила черствой ладонью его лицо. Ему же в эту минуту не хотелось ворошить прошлое. Минута-то счастливая.

Но из головы не выходило: все-таки, что надо Пийко? К чему эта игра в пряточки?

Скоро выяснилось. Евлампий Лыков явился собственной персоной — широкий костяк черепа проступает сквозь тугую, обветренную кожу, белесые волосы поредели, под шишкастым лбом в сумрачных яминах голубые глазки, неожиданно ласковые, с тихой улыбочкой. И пахнет от него вкусно — то ли черемухой, то ли горечью клейких листьев, обидным для закованного в тяжелый гипс человека. А в руке у Евлампия узелок — цветочками линялый ленок. От узелка тянет домашним уютом, покоем обретенной семьи. Евлампий, считай, молодожен, не столь давно, в этот мясоед, праздновал свадьбу, взял в жены Ольгу Редькину. Ей — восемнадцать, ему — за тридцать перевалило. Узелок в голубых цветочках, голубые глазки в доброй улыбочке — ну, ни дать ни взять, пришел брат, родная душа.

— Вот... — узелок положил к подушке возле уха Ивана. — Тут курочку жинка сварила. Сам подбирал — молодая, тельная...

— Тебе чего, сукин сын? — спросил Иван в потолок. — Сам видишь, я калека, одной ногой в могиле. От меня уже не покорыствуешься.

— Выживешь. Узнавал — выживешь. Плясать — вряд ли и ходить вряд ли, а жить будешь.

— Чего тебе от меня? — сурово повторил Иван.

Он лежал наособицу в операционной палате — тесной комнатухе на одно окно, с одной койкой. И хотя кругом никого не было, но Евлампий все-таки шагнул к окну, за которым в близком и недоступном Ивану солнечном мире скандалили воробы, захлопнул его, снова сел напротив — короткая шея, массивные салазки, крепкий череп под шершавой шкуркой, бронзовый лоб, хоронящий под собой голубые глазки. Уже без улыбки, уже деловит.

— Ты, Ванюха, жить будешь, за это лекаря скопом ручаются. Жить будешь, но сидючи. Вот я и подумал: а зачем мне тебя в тюрьму упрятывать, бог с тобой...

— Одолжил. Может, ждешь — спасибо скажу?

— Может, и скажешь. Пока я всем говорю: стукнули тебя по пьяному делу, а кто — не знаю. Конечно, и ты ведать не ведаешь. Ясно? Припутывать кого-то там не след. Мало ли в праздники чего не бывает.

— Жалостлив или боишься, что тебе самоуправство приклеят?

— Мое самоуправство законное. На разбое тебя прихватил, так что — чист и свят, даже благодарность могу заслужить.

— Все корысть, чего отказываться-то.

— С тебя корысть поболее.

— С меня?.. Я же калека без ног.

Евлампий помолчал, ощупывая голубым глазом. В его взгляде — не насмешка, не холод, а, похоже, жалость. И это поразило Ивана: застал на разбое, оглушил оглоблей и... жалеет. Притворство? Хитрость? Издевка или совесть выиграла? С чего бы?..

— Эх, Ванька, Ванька! Ведь я ждал, ждал... — произнес Евлампий.

— Чего?

— Что озлобишься. Я за тобой не один год со стороны слежу. Я, может, один только и понимал тебя: и как ты показать себя хотел, и как сорвалось, как в свином корыте надежду утопил...

— Потому и приложил?

— Все-таки не думалось, что до такого дозреешь. Враг среди ночи — ударил, прощенья за то не прошу, хотя жалею.

— Хватит ерничать-то. Я же в жалость давно не верю — ни в твою, ни в чью-то.

— Может, мне надо было свое место тебе уступить — пограмотней да и поумней меня, поди, лучше смог бы колхоз поднять. Но у меня тоже душа по большому делу

зудит. И с народом я лучше тебя столкнуться могу. Ни народ тебя не понимал, ни ты его. Так что — баш на баш менять, только время терять.

— Чего хочешь, Пийко?

— Иль не ясно еще? Тебя к себе приспособить. Ты мне советик, я его в дело вобью. Накормим, оденем, обуем людей, такое, может, завернем, что никому и не снилось. Может, дома белокаменные вместо изб поставим, в них у каждого столы со скатертями, полки с умными книгами. Не жизнь, а масленица. Будет! Будет! Верю! Ради такого кровь по капельке выцедить не жаль!

И под надвинутым черепом вспыхнувшие синевой глаза — верит, не врет. Невдомек Евлампию Лыкову, что он сейчас этой верой бьет Ивана больней, чем оглоблей. Старая, безнадежно потерянная сказка о счастливом селе Пожары, где молочные реки и кисельные берега. Евлампий выкрал ее, присвоил себе и ждет, чтоб помогал. Иван дернул головой:

— Нет уж, Пийко, не выйдет. Сам справляйся, а меня не трожь.

Евлампий сразу поскуучнел, отвел глаза, сказал:

— Выйдет. Куды тебе такому подеться, даже ежели и помилюют. Милостыню под окнами просить не способен — ложись и помирай. А я жить даю.

— А ты спроси: хочу ли я... жить-то?

— Хочешь, Иван, хочешь, даже сидючи. Посажу тебя счетоводом. Кормить будем, поить будем.

— Мне за это перед тобой на лапках служи?

— Лапки-то у тебя попорчены, а вот голова цела.

— Все равно не захочу!

— Чего тебе еще хотеть? Только царства небесного.— Евлампий лениво встал.— Поправляйся скорей... Сев идет неплохо, авось и лето не подведет — с урожаем будем... А курочку съешь, не брезгуй. Когда варила, соседи слюни глотали. Я-то сам не помню уж, когда и пробовал курятины...

В начале сентября, в ясное прохладное утро, когда трава еще мокра, а пыль на дороге вязка и ленива, двигался через село Иван Слегов.

Бабы останавливались, зажимали рты концами платков, глядели раскисшими глазами — ох, горемыка несчастный, господи!

Иван налегал на новенькие, недавно выстроганные ко-

стыли, перекидывал чужие, словно привязанные ноги, потел с непривычки.

Он шагал в колхозную контору, где за бухгалтерским скрипучим столом его ждал свободный стул.

ИВАН СЛЕГОВ

(Продолжение)

Лицо серое, бородавчатое, оттянутое на одну сторону, правый глаз полуприкрыт мятым веком.

Висит над койкой грузный Иван Иванович.

Он полжизни шел к этой койке. Он почему-то верил — ему придется увидеть Евлампия Лыкова на смертном одре. Верил против здравого смысла — сам-то сидел сиднем тридцать лет и три года, оплывал тяжким жиром, страдал от сердечной одышки, от больших почек, ему ли, калеке, надеяться, что пересидит палитого кипучим здоровьем Евлампия — физиономия словно натерта кирпичом, багровый загривок, ртуть-мужик, для всех неожиданность, что свалился. Не должен бы верить, а верил...

Вот оно... Мир уже разглядывает не живым зрачком — кисельной слизью из-под мертвого века. Очень близкий человек, чаще ни с кем не встречался, теснее никого не знал.

Вдруг Иван Иванович вздрогнул под своим толстым зимним пальто всей кожей: в тенистой впадине виска уловил — бьется жилка, натужно, неровно, еле заметно для глаза, но бьется. Последние толчки бурной, шумной, удачливой жизни.

Охватила неожиданная жалость к Евлампию, неподвижно лежащему под одеялом, чужому Евлампию, с чужим сдвинутым лицом. Собирался напомнить костыли, долги живого потребовать с покойника. Лежачего лягнуть, а лежачему безразлично.

Старый бухгалтер неуклюже зашевелился, развернулся, волоча валенки по крашеному полу, двинулся к дверям, убегая от чужого Лыкова, от своих мстительных мыслей, от самого себя. Лежачего лягнуть... Зачем?

Как тень, качнулся за Иваном Ивановичем Чистых.

Сестра-сиделка проводила их отсутствующим взглядом, села на стул возле койки, принялась за свой недовазанный носок.

В минуты откровения Евлампий Лыков призывался: «Ты, Ивац, мой посох, без тебя я так далеко бы не ушагал». Иван Слегов обычно такие откровения встречал молчанием.

Земли села Пожары упирались в земли деревни Петраковской. Деревня большая, по числу дворов не уступала селу. В селе — церковь («Богу помолиться — нас не обойдешь»), зато петраковцы, хоть и подальше от бога, но всегда жили позажиточнее — сидели на заливных лугах, а значит — держали больше коров, значит — и землю погуще сдабривали навозом, почаще ставили на стол щи с наваром. Ни один престольный праздник не проходил, чтоб по селу Пожары не раздавался клич: «Бей жилу!» Пожарец с раннего детства усваивал, что каждый петраковец:

Жила, жиловат,
Тощей ухват,
Морквой разговелся,
Брюхом исстрадался...

«Бей, братцы, жилу, круши их!»

Петраковцы презирали пожарцев, дразнили:

— Вань-кя! Вань-кя! Продь-ко по доске.

— Чай, я квасу хлябанул — шатае...

Навряд ли справедливо, потому что «Бей жилу!» раздавалось не с квасу.

В Петраковской не было коммуны, как не было коммун в других деревнях и селах, в Пожарах — единственная во всей округе.

Как теперь, так и прежде, все убеждены, что пожарский колхоз поднялся только тем, что Евлампий Никитич Лыков счастливо оказался в председателях. Он — причина.

Иван Слегов вслух не возражал, но про себя никогда не соглашался с этим.

Да, Пийко Лыков — пробивной мужик, да, он и в старости — до того как свалил удар — был быстр на ногу, до всего поспевал сам, а в молодости и подавно не знал покоя — не откажешь, вез воз на совесть.

Но с тех забыто древних времеп, когда пещерный мужик провел первую межу по земле, отделил ее от других земель, назвал своею — живет единоличность. И чтоб это тысячелетне мужицкое — мое кровное, не лезь, душу вырву! — кто-то один ретивый за год, за два лихо повер-

нул на коллективное — ну нет, шалишь, слишком просто. Ни приткось Пийко Лыкова, ни его веселые шуточки не помогли бы. Наверное, и у него, Ивана Слегова, окажись он на месте Пийко, вышла бы осечка. Теперь-то он поумнел, великим деревенским вождем не мнит себя.

Может как-то научить уму-разуму сама жизнь. А село Пожары пережило бесшабашную коммунистическую Матвея Студенкина. Она прошла у всех на глазах, она настояла даже самых отпетых: «Берись за ум, плохо будет». Одно то, что Мотьку Студенкина скинули, Пийко поставили, уже говорит — «взялись за ум».

Приткось Лыкова — не причина. Просто Петраковская не получила науки. Председателем там покорно приняли присланного сверху, похожего на Матвея-рубаку, который сердито жал «на процент», сами неученые примером мужики тянули — кто в лес, кто по дрова, сев дружно завалили в первый же год, петраковские поля — извечная зависть пожарцев — покрылись жирным лопухом и веселой сурепкой. Петраковцы одни из первых начали стряпать пироги из травы...

Лыкову верили, Лыкова слушались, Евлампий Лыков мог при случае припугнуть: «Обратно к Мотьке под крылышко захотелось, оглянитесь на петраковцев — хороши ли?» Это крепко помогало.

Лыков в те годы не мнил о себе высоко, иначе не посадил бы безногого Ивана Слегова: «Советуй!»

Ивану ничего не оставалось, как честно служить: за выручку — «от тюрьмы-то тебя оберег» — и за хлеб — «милостину под окнами просить не способен». Он не подымаясь со стула, не ездил по полям, по хозяйству знал не хуже самого Евлампия, который обегал его в день по нескольку раз. Советуй... Что ж, изволь.

— Земли за рекой пахать собираешься или нет? — спрашивал Иван Евлампия.

— Вот они у меня где! — Евлампий хлопает себя по короткой шее, еще не обложившейся крутым жирком. — Прыгай не прыгай — тягла нет, рук нет, весна шпарит...

— Раз так, не наши, — роняет Иван.

У Евлампия округляется косящий глаз, рот сжимается в гузку — недоверие и подозрительность на опаленной физиономии: «Иль с ума спятил, иль под монастырь подвести хочет».

— А хлеб нам с неба упадет, что ли?

В ответ спокойный вопрос:

— А много ли сымешь за рекой хлеба?

Молчание. Евлампий сердито посапывает. Он не хуже Ивана знает: абы сымешь, абы нет. Но пусть плоха земля, недородна, тогда тем более усердствуй, чтоб что-то из нее выжать. «Не паши...» — Евлампий сопит.

— Сена в эту зиму не хватило... — подсказывает Иван. Евлампий сопит.

— И опять не хватит. И всегда не будет хватать, пока новые луга не огорюем... Нам даже суходолы — дар божий.

Евлампий перестает сопеть, глядит Ивану в глаза, по застывшей физиономии видно, что под квадратным черепом колесом крутятся мысли.

— А что, ежели... — говорит он тихо, еще не веря своему прозрению.

Иван усмехается:

— Ну, ну, рожай.

Казалось бы, дикость — забросить земли, с которых истари сымали хлеб. Но не хватает рук, не хватает навозу, не хватает и корму для скота. Как выкарабкаться? Просто — не паши, запусти часть земли под луга и... бросай тягло и руки на другие поля, на эти же поля можно вывезти больше навозу, значит, жди с них погуще и урожая, а колхоз со временем получит новые покосы. Попробуй поступить иначе — разбросаешь силы, останешься и без хлеба и без сена, поползет хозяйство, как прелая онуча.

Евлампий хлопает себя по ляжкам:

— Дело!

Мысль родилась в председательской голове, не первая и не последняя мысль с помощью «бабки-повитухи» — безногого Ивана Слегова.

— Дело! Кой-кто на дыбки встанет. Уломаем!

Вот уламывать Евлампий умеет мастерски: и лаской, и таской, и слезливой бумажкой в район, и хлопотливым бегашем из кабинета в кабинет по нужным начальникам.

В Петраковской, по соседству, падал скот от бескормицы, люди ели хлеб из крапивы, колобашки из куглины, пареную кашу из дятля. И не в одной Петраковской. По стране шел голодный год — тысяча девятьсот тридцать третий.

В районном городе Вохрово, на пристанционном скверике, умирали высланные из Украины раскулаченные куркули. Видеть там по утрам мертвых вошло в привыч-

ку, приезжала телега, больничный конюх Абрам наваливал трупы.

Умирала не все, многие бродили по пыльным, неказистым улочкам, волоча слоновьи от водянки, бескровно голубые ноги, собачьи просящими глазами ощупывали каждого прохожего. В Вохрове не подавали; сами жители, чтоб получить хлеб по карточкам, становились с вечера в очередь к магазину.

Тридцать третий год...

А в селе Пожары, где всегда жили по пословице: наша горница с богом не спорится, первыми оставались без урожая в засуху, терпели первыми от проливных дождей, от градобития, от конского сапа, от ящура, — в этот год собрали приличный урожай.

Евламий Лыков потирал ладони:

— Порядок!

Пел соловьем перед сидящим в полутемной комнатенке счетоводом:

— Излишечки имеем. Ха! В такой-то год! Навар добрый. Только им любоваться нам долго нельзя. Районное начальство живо наш навар снимет. У них, сам знаешь, положение крутое, со всех сторон руки тянутся. Ты быстренько разбросай все, что есть, по работникам, и пусть не мешкают, пусть развозят. А уж развезут — шалишь, по избам районные охотники не пойдут шарить, ежели и вздумают, то следов не отыщут. Кругом-то травку жрут! Да на нас народ молиться будет!

Иван Слегов сидел, слушал, прятал под столом валенки — и летом их приходилось таскать на мертвых ногах, — наконец обдал холодом:

— С молитв шубу не сошьешь.

Евламий Лыков раздвинул плечи, выпятил грудь, надулся индюком:

— Я с народных доходов себе шуб шить не собираюсь!

— Себе не шей, а колхоз обряди. Твой колхоз в обносках ходит: конюшня из старого овина...

— Не сразу Москва строилась. Все в свое время.

— А время-то настало. Не кажется?..

— Сейчас — время строить?! Да сейчас за бешеные деньги гвоздя ржавого не раздобудешь.

— За деньги — да. А за хлеб?..

Евламий подобрался, уставился на небритого, пасмурного, как осеннее окно, счетовода — бабка-повитуха приказывает родить мысль.

— За хле-еб?.. Менять, что ли?.. У нас не частная

лавочка. Я тебе на базаре за хлеб хромовые сапоги выменяю. А кирпич, а гвозди...

— Слышал о Лелюшинском кирпичном заводе?

— Ну, слышал краем уха.

— Прикинь — ты там директором. Люди у тебя в столовке гоняют пустую баланду, а им глину тяжелую ворочать, какие опи работники — с ног падают. И план, значит, ты не вытягиваешь, и нагоняи от начальства огребаешь, и сам рабочий с голодного брюха на тебя волком смотрит. А теперь прикинь — картошки предлагают. Картошка все заботы сымет, с сытого можешь потребовать — выполняй план, сытый рабочий тебе поверит, на сверхурочную работу встанет, лишний кирпич выгонит, чтоб эту картошку оплатить. Пошел бы ты навстречу такому предложению?..

— Пойти-то пошел...

— Так в чем дело?

— В малом. За морем телушка — полушка... Ты, может, на Америку укажешь, там тоже кирпичные заводы есть. Лелюшино-то не под боком.

— К Лелюшино железная дорога проложена.

— У меня там родня не работает.

— Работают опять такие же рабочие, которые не калачи с маслом едят. Пообещай картошки и муки — перекинут твой кирпич, найдут способ.

— М-да-а... А не нагорит нам за такой шахер-махер?

— Я тебя не на взятку толкаю. Не начальнику мешок, не снабженцу подачку — предприятию, учреждению, с документами по всей форме, чтоб комар носу не подточил.

— Соб-ла-ази!

И вправду соблазн, да еще какой... Все колхозы кругом — еле-еле душа в теле, а тут дорога в рай — повая конюшня, коровник, свинарник, о таком и в добрые времена мечтать погоди.

Но вот ведь странно: в добрые времена не мечтай, а сейчас, когда кругом худо, — делай мечту былью, куй железо, пока горячо.

Со станции потянулись подводы — везли кирпич, стекло, кровельное железо, олифу в огромных бутылках, упрятаанных в плетеные корзины... Никакого шахера-махера, не сам Евлампий, а начальство с кирпичного, начальство состроек выискивало нужный пункт, чтоб по нему составить законную бумагу — вы нам, мы — вам, квиты. Кто сомневается — просим. Не слишком разговорчивый Иван Слегов брался за костыли, ковылял к шкафам, вы-

нимал нужную папку: «Читайте. Продокументировано».

Евлампию только намекни — вон висит спелое яблоко, а как через забор перелезть, как сорвать — не сидячему Ивану указывать.

Пийко Лыков перерождался у всех на глазах. Давно ли к каждому подкатывал: «Лежишь, добрый молодец? Жирок нагуливаешь?.. Лежи, лежи, а я поработаю». Золотой характер, и штаны носил с заплатами. Теперь в залатанных штанах неудобно — по одежке встречают, а встречаться приходилось с директорами заводов, с начальниками строительства, могут принять за несерьезного человека: по-крупному ворочаешь, у самого же на неприличном месте заплаты. Евлампий Лыков стал даже на шею цеплять галстучек, а вместе с галстучком и заговорил на басах.

Конюх Степан Зобов, вывозя по распутице мешки с цементом, стер до мяса холку лошади. В другое бы время Евлампий его журил: «Себе вредишь. Безобразно относишься». Теперь припечатал:

— За то время, пока лошадь лечится, высчитать убытки!

Степан по старишке лягаться начал:

— Эт-то как?! Да я за вожжи больше не возьмусь! По распутице тяжесть вез, клятое дело!

— Вожжей в руки не возьмешь?.. Что ж, снять с конюхов. Поставить на рытье фундаментов, где глина покруче.

Не прежние времена.

А счетовод Иван Слегов сидел в своем закутке. С ним никаких перемен — небрит, порыжевший пиджачок на плечах, больные ноги спрятаны в теплые валенки.

К нему Евлампий Никитич с почтением, даже сердечно: «Иван — мой посох». Евлампий опирается на Ивана, Иван на костыли, которые подарил Евлампий, — квити, выходит.

Подводы кирпича и железа быстро слизнули излишки из колхозных амбаров, тем более что Лыков в этом усердствовал. Как и ожидал Иван — не хватило, аппетит приходит во время еды. Нужны арматура, трубы, какие-то решетки на сточные колодцы, вещи, о которых и слыхом не слыхивали в Пожарах.

— Как быть? — Евлампий Никитич сивкой-буркой встает перед столом своего счетовода.

— Покупать.

— На какие шиши?

— Я попрдержал окончательный расчет по трудодням. Пускай в оборот.

Евламий Лыков дыхнул растерянно:

— Как же, брат, это?

Иван смирихонько согласился:

— Считаешь — нельзя, не покунай.

— До будущего года отложить ежели?..

— На будущий год такой вольготности может и не случиться. Все окажутся с урожаем, хлеб упадет в цене. А у нас, как знать, вдруг да назло в урожай осечка. Вот и откладывай.

Лыков дышит в лицо Ивану:

— На трудодень законный посягаем. На то, что твердо обещали... Мужика, выходит, своего обворовываем.

— Уж так и обворовываем? Чем наш мужик питается?.. Чистым хлебом. А в других деревнях что сейчас жрут?..

— На совесть народ работал, и расчет должен быть по совести.

— По чьей? — вопрос с ледком.

— Как это — по чьей? — удивляется Евламий.— Разве у народа совесть одна, у меня — другая?

— А разве ты во всем согласен, скажем, с Пашкой Жоровым?

— Ну нет, не во всем.

— То-то и оно. По Пашкиной совести — не сули орла в небе, дай синицу в руки, плевать на новую конюшню, отвали лишнюю жменю ржи. Можешь ты, председатель, жить Пашкиной совестью? Если — да, то грош тебе цена.

— О совести ли мы говорим? — посомневался Евламий.— Может, о взглядах? Они того... у Пашки — недо-развитые.

— А разве совесть не на взглядах замешена? Ворюга-прохвост, когда в карман лезет, тоже, поди, подходящими взглядами на всякий случай запасается. Свои взгляды, своя карманная совесть, так-то!

— М-да...

— Как видишь, греха нет, ежели мы у совестливого Пашки ремешок на брюхе стянем.

Евламий долго-долго ощупывает взглядом своего счетовода. На вид ничего особого: густая копна волос, пухловато-небритое, скучное лицо, прячет неживые ноги под столом, казалось бы, такой мухи не обидит.

— До чего ты, брат, зол, однако.

— Не ты ли в компании с пашками во мне доброту

повыжег? — ответил сухо Иван и добавил: — А потом, я свой хлеб не хочу зря есть...

Евламий поступал по-слеговски, не мог иначе. Иван ощутил свою силу: вот как оно оборачивается, слушай — не слушай, да послушаться не смей.

А он сам мог и послушаться.

Посреди села, у крыльца бывшего тулуповского дома, пыле колхозной конторы, открылась ежедневная «ярмарка». Из Петраковской, где когда-то презирали пожарцев, из других окрестных деревень стали сходиться мужики и бабы, то в одиночку, то целыми семьями с детишками, держащимися за подолы. Они предлагали — возьмите нас, не дорого просим, кусок хлеба для детей и для себя, на любую работу готовы.

Нет, они не падали с ног, не выглядели истощенными, правда, в глазах тоскливая сухость да движения вялые.

Все хотели видеть Евлампия Никитича, палкой не сгонишь с крыльца, пока не появится председатель хлебного колхоза.

И он появлялся, крепко сколоченный, широкий, с загривочком, уже начавшим наливаться багрецом, настоящий бог сытости, только огорченный и растерянный бог, отводящий глаза от ищущих взглядов. Он разводил короткими руками, отказывал:

— Куда мне вас, посудите сами. В селе — добрая тыща ртов, как прокормить, не знаю.

А слава о новоявленной житнице росла. Из города Вохрова поползли ссыльные куркули, это уж не соседские мужики, хоть травкой, по кормленные. Ползли и ковыляли босые, раздетые под ледяным пронизывающим ветром и ледяным дождем предзимних дней, по лужам, затынутым хрустящей пенкой. Многие так и не одолевали пятнадцати километров, не добирались до сказочного села, их находили на бровках полей, в придорожных канавах. Но те, кто доползал, наводили ужас на пожарцев: оплывшие, дышащие с хрипотой и клетотом, сквозь дыры завшивевших лохмотьев — расчесанные, мягкие от водянки телеса. Мужики при виде их смирились, виновато отворачивались, бабы вытирали глаза, стыдливо совали куски хлеба, в избы не приглашали — куда таких, одного возьми из жалости, от других отбою не будет. А председатель еще трудодни обрезал, самим бы концы с концами свести.

Евламий Лыков ловчил, старался не попадаться на глаза, отдал приказ: закладывать лошадей, усаживать незваных гостей на подводы и увозить обратно в Вохрово.

Словчить удавалось не всегда.

Так наскочил на одного: лицо подушкой, из водянистой в затхлую зелень мякоти — совиный нос, подушками и поги, грязные пальцы пристрочены снизу, как пуговицы. Лежит в лохмотьях на крыльце, увидел председателя, поднял нечесаную голову.

— Возьми,— просипел.— Каменщик я. В Орле работал, подряды брал. Свое дело имел. Сам дюжиной работников заворачивал...

Евламий Лыков хотел обойти стороной и, не сдерживая прыть в погах, удалиться от греха, но следом на костылях выползал Иван Слегов — неудобно бросить калеку, гость-то поперек крыльца лежит, путь загораживает.

Иван навис над кучей тряпья, а из нее в упор чудовищно раздутая, со смытыми чертами, затекшими глазками физиономия, нос крючком из студенистой мякоти. И по лицу Ивана прошла судорога.

— Возьмите. Каменщик я.

Иван поперхнулся и выдавил:

— Возьми.

Евламий, отвернувшись, зло всаживал в землю каблук сапога:

— Почему этому одолжение?.. Рад бы в рай... Всех не приголубишь.

— Кирпичи-то для строительства берешь?

— Ну, беру.

— Возьми и каменщика.

— Как звать? — повернулся тугим телом Евламий.

— Чередник Михайло.

— Э, ребята! Отведите его... К Секлетии Ключишне. Пусть накормит да в бане пропарит.

Двое зевак-парней подхватили бродягу. Иван перевел дыхание, стал с привычной осторожностью спускаться со ступенек.

— Иван...— Евламий задержал его за костыль, глаза прячет к земле, но голос решительный.— Вот что... Кому-то надо разбираться, может, и в самом деле в этих вороньих пугалах нужные нам люди есть.

— Как не быть,— настороженно согласился Иван.

— Так вот, тебе поручаю — вникай, расспрашивай, кого нужно — пригреем. На твою совесть рассчитываю.

Иван уставился на председателя, а тот — глаза в землю, но в скулах каменность, не трудно прочитать: «Прощу пока добром, но особо не перечь — прижму». Хорош: неудобно нырять с головой в людскую беду, ковыряться в ней, быть жестоким — «на твою совесть рассчитываю», — ты отказывай. Принимать-то нельзя, это каждому ясно, колхоз не богадельня. Отказывай, будь ты жестоким, а я в сторонке, без тревог, не пачкаюсь. Не много ли хочешь, Евлампий Никитич? Не только за тебя мозгами шевели, но и еще грязь за тебя вылизывай, оберегай боженьку.

Иван сухо ответил:

— Не смогу, не справлюсь.

— Поч-чему? — поднял сузившиеся глаза Евлампий.

— Потому что каждого буду принимать, а ты мне сам этого не позволишь.

И, освободив костыль из лыковской руки, Иван заковылял к дому.

Евлампий стоял, расставив ноги, глядел в спину. Иван ощущал этот взгляд до тех пор, пока не завернул за угол.

И все-таки Евлампий не стал настаивать, проглотил отказ. Самому приходилось разбираться с просителями.

А Михайло Чередник, принятый по счастливой оказии, стал потом в колхозе бригадиром знаменитой строительной бригады. Его наградили орденом, о нем не писали газеты...

ЧИСТЫХ-СТАРШИЙ, ПРОХОДЯЩИЙ СТОРОНОЙ ПО ИСТОРИИ

У самого входа, у дверей, на табуретке сидел скромно и тихо, как ученый цирковой слон, шофер Лыкова Леха Шаблов. Руки — клешни, красные, пугающе крупные, отдыхают на коленях вместе с шапкой, в лице — лепной сдобе — прячутся маленькие глазки, выражение пшеничного каравая, но сами глазки в тревожной готовности. При появлении старого бухгалтера громадные валенки шевельнулись, попытались без успеха втиснуться под табурет, — парень хотел съежиться, стать меньше.

Иван Иванович остановился, стал хмуρο разглядывать: покатые плечищи, колени округло тупые, твердые, каждое что дно чугунного казана, руки на коленях, ломающие подковы, — сила позднего Лыкова.

— Леха...

И Леха Шаблов с радостной надеждой вздрогнул — к нему обращались, он нужен.

Голос Ивана Ивановича скучен:

— Стоит ли тебе глаза добрым людям мозолить? Шел бы... Сам понимаешь, кой-кому неприятно смотреть на тебя.

Обширное сдобное Лехино лицо стало деревянным:

— Я от Евлампия Никитича — ни на шаг. Я до последней минуты...

Этот парень с мускулами матерого медведя надеется, что собачья верность старому хозяину будет поставлена в заслугу.

— Молодые Лыковы вот вернутся с работы... Теперь тебе скандал ни к чему.

— Я от Евлампия Никитича — ни на шаг. Я до последней минуты...

Бухгалтер недовольно повел плечом, бросил взгляд на Чистых, словно говоря: «Ну что тут поделаешь? Не толкать же в шею быка».

Чистых этот взгляд понял как приказ, выпрямился — рот сжат, щеки надуты, круглые глаза строго выкачены. Приблизился к Лехе скуповато чинной походочкой, выдержал паузу.

— Иль не ясно сказано? — спросил он.

Леха молчал, уныло отводил глаза.

— Ну?! — тенорком прикрикнул Чистых.

— Чего — ну?

— А того, разлюбезный... Шапку надевай и — вот бог, вот порог. Быстренько!

Леха сидел в столбняке.

— Хочешь, чтоб я к телефону подошел!

— Я от Евлампия Никитича...

— Слышали! Не ломай, браток, комедию. Хватит! Ежели сию минуту не встанешь, звоню. От имени вот Ивана Ивановича, от имени всего колхозного правления попрошу участкового вывести тебя под пистолетом.

Леха минуту туго глядел в пуговицу пальто на животе Чистых, наконец, зашевелился, разогнулся, сразу вырос под потолок, чуть ли не на голову поднялся над долговязым лыковским замом, шире его втрое, страшный деревянным выражением своего лица. Кто знает, что может прийти такому в голову, махнет клешнятой лапой — в стенку влипнет худосочный зам.

— Не заставляй упрашивать, — уж не столь напористо повторил Чистых. — По-доброму...

По пшеничной Лехиной рожке медленно разливалась краска, маленькие глаза становились колючими.

— Сволочи вы все! — зарокотал он глухим басом. — Чем я хуже?..

— Н-но! Но! — Чистых подался назад.

— Чем хуже тебя, гнида?.. Не самовольствовал, исполнял что приказывали. Ослушаться-то никто не смел. И ты тоже. Теперь съесть готовы, кры-ысы! Под пистолетом еще...

— Но! Но! По-доброму просим.

— Ляпнуть бы тебе по-доброму, чтоб копыта откинул. Ишь, чистый! Ух бы, махнул! Да дерьмо тропешь — вонь пойдет.

Леха рывком натянул шапку, согнулся под притолокой, толкнул дверь.

Чистых облегченно перевел дыхание, постоял, глядя на захлопнувшуюся дверь, и с виноватой неловкостью — «за скандальчик извините» — повернулся к бухгалтеру.

На жирном, желтом лице Ивана Ивановича ничего нельзя прочесть — покойно, словно и не было скандала.

— Не понимаю, — поспешно заговорил Чистых, — Евлампия Никитича не понимаю. Из-за такого Лехи в глазах людей себя ронял.

Иван Иванович из-под заплывшего века, из глубокой щелки остро взглянул на лыковского зама, ухмыльнулся:

— Осуждаешь?

— Ну, мне ли судить... А все-таки.

— Гм... Ты не Леха, не-ет.

— Иван Иванович! Какое может быть сравнение! Обидно слышать, право.

— Он — просто заяц, а ты, вижу, заяц отважный, из тех, какие помирающего льва лягают.

Чистых, к удивлению Ивана Ивановича, побледнел, взгляд стал совиный, стеклянно-непроницаемый, и в голосе прорезалась взволнованная сипотца:

— Несправедливо же!.. А впрочем, думайте как угодно. Тут не убедишь. Но заявить уж разрешите: я Евлампия Никитича и сейчас не лягаю и лягать не стану, даже к стенке поставьте. Евлампий Никитич мне вместо отца родного.

— Поди, и Леха сейчас так же думает.

— Леха хозяина теряет. Только-то...

— Ты — отца?

— Не верьте, неволить не могу. Только напомним: из

меня, может, бандюга-уголовник вырос, если б не Евлампий Никитич.

— У тебя ж отец родной жив. Его по боку?

— А что он для меня сделал? Только родил. На том и спасибо. Все знают, он ко мне, я к нему — с прохладцей. А свято место в душе пусто не бывает. У меня это место вот тут, — стукнул в грудь желтым кулаком, — Евлампий Никитич занял.

Заглядывая в округлившиеся, потемневшие глаза Чистых, Иван Иванович подумал: «Похоже, правду говорит. Не для всех Пийко — казенный человек».

Родной отец Чистых живет сейчас в Вохрове. Он старый враг Евлампия Лыкова.

* * *

Чем успешнее шли дела в колхозе, тем усерднее Евлампий Никитич мел пыль вокруг районного начальства, пуще всего боялся, как бы не приказали: делись с отступающими — пусят по ветру, долго ль. Помогали не ласковые слова, не улыбочки, а знакомства с директорами заводов, с начальниками строительства, которые снабжали колхоз стройматериалами.

В районном клубе, переоборудованном из старой церкви, протекала крыша, по этому поводу собирались совещания, принимались решения, посылались в область запросы, а крыша текла себе и текла, даже на макушку выступавшего с очередным докладом секретаря вохровского райкома Николая Карповича Чистых. И вот тут-то Евлампий Лыков выступал в роли спасителя: через влиятельных знакомых доставал кровельное железо, создавал вокруг себя мнение — полезный человек. До поры до времени район не вмешивался в жизнь села: строятся — похвально, так держать!

Но вот начали вылезать из голодного года, подсчитывали ресурсы — к весне не хватало семян. В село Пожары приехал сам секретарь Чистых.

Среднего возраста, среднего роста, средней паружности, одет средне — поношенный пиджак, галстук, тщательно расчесанные негустые волосы, лицо моложавое, но было в нем что-то особое, «останавливающее». Умел глянуть сквозь, сказать, не повышая голоса, чтоб собеседник ответил октавой ниже, обронить слово «товарищ» так, чтоб всякий почувствовал — держи дистанцию. Он имел за спиной не обширную, зато ничем не запятнанную биогра-

фию — не участвовал в оппозициях, не примыкал к группировкам, не имел отклонений, не получал ни выговоров, ни на вид, — этим гордился, при случае разрешал себе напомнить: «Я перед народом чист как слеза».

С ним одним Евлампий Лыков не сошелся на короткой ноге, хотя и старался вовсю: не только крышу на районный клуб, даже для усиления агитации кумач раздобыл — революционные-то лозунги по сельсоветам писали на старых обоях и газетах.

Чистых, не посоветовавшись заранее с Лыковым, собрал в колхозе узкий актив, выступил с предложением: выручить район, сдать сверх плана на семена столько-то пудов.

Сдать?.. Лыков еще осенью перегнал на цемент и стекло все хлебные излишки. Поздненько спохватился товарищ Чистых — мы теперь оконным стеклом богаты, не семенами, самим бы посеяться. Попробовал осторожно убедить в этом.

Ну нет, не на того попал.

— Новую конюшню заканчиваете? — спросил Чистых.

— Заканчиваем.

— Новый коровник заложили?

— Заложили.

— Свилярник новый собираетесь строить?

— Да, собираемся.

— Так что же вы беднячками незаможными прикидываетесь? Сдать!..

— Сдадим, а в новом свилярнике свиней будем кормить чистым воздухом?

— Тов-варищ Лыков! У нас людей кормить, нечем, а вы — свиней!

— Но свиней-то растим не для господ бога, для тех же людей!

Евлампий Лыков до сих пор никогда круто не возражал районным властям — бог миловал, а тут понял: отступать нельзя, накупил горы кирпича, цемента, хозяйство висит на струнке, легкий толчок... и ухнет вниз, сиди тогда среди штабелей драгоценного кирпича и кукарекай. Сдай! Нет, каждая горсть зерна наперед учтена. Сдай! Невозможно! Нашла коса на камень. Активисты, глядя на своего председателя, тоже уперлись.

Чистых поиграл желваками, со стеклянным блеском в глазах пообещал:

— Ну, тов-варищ Лыков, придется в отношении вас пойти на крайние меры.

Крайняя мера — долой с председателей! Лыков прикинул: сам Чистых без народа, без общего собрания колхозников снять его не посмеет. Ну, а на собрании посмотрим, народ-то должен тучей подняться за Евлампия Никитича, который блюдет его интересы, кормит не травкой-муравкой, а хлебом без мякины.

Наступление началось издавека, с глубокого тыла, из района. Чистых не трудно было разделаться с теми, кто в районных организациях за старые заслуги выгораживал пожарского председателя. Вынырнул на свет божий некий Семен Семенович Никодимов, кому суждено заменить не оправдавшего надежд Лыкова. Осталось одно — провести через общее собрание колхозников, заручиться поддержкой народа.

А в народ-то Евлампий Лыков верил, народ понимает свои интересы, стеной встанет, Никодимов какой-то, слыхом не слыхали, в глаза не видывали. Ну, дорогой товарищ Чистых, держись, дадим бой! Вспомни-ка: с активом не справился, а тут — массы, силища!

Евлампий Лыков верил и... чуть промахнулся.

Он малого не учел — обиженных, вроде бывшего конюха Степана Зобова. Их за последний год поднабралось — не дал лошадей пахать усадьбу, задержал на траве хлеб коров, просто обошелся резко — мало ли чего не случалось, всем мил не будешь. Нет, их не большинство, двух рук хватит, чтоб по пальцам перечесть, не масса, но обижены.

Довольному достаточно сохранить то, что имеет. На то он и довольный, чтоб не рисковать. Обиженному терять нечего, он даже может и выиграть, если полезет на рожон.

Приехал сам Чистых проводить собрание. Довольные в присутствии высокого начальства молчали. Степаны Зобовы, уловив, куда ветер дует, старались вовсю, кричали с надрывом, только их голоса и были слышны:

— Своевольничает! Жизни нет! Ишь, загривок-то отрастил!

И товарищ Чистых с охотой их голоса принимал за глас народный.

Кричат единицы, остальные молчат, вот тебе и в массах сила.

Собрание кончилось. Чистых бросил Лыкову:

— На днях получите окончательное решение. Сдадите дела. Придется рядовым колхозником завоевывать авторитет. Эт-то потрудней.

Лыков смотрел в пол.

Народ поспешно расходился, все старались не глядеть на развенчанного председателя.

В пустом зале у дверей, пригорюпившись, стояла Секлетия Ключишна, бабка-уборщица, ждала терпеливо, когда очнется председатель, чтоб закрыть на замок контору.

Евламний поднялся с патугой, устало побрел к выходу.

— Ох-хо-хо! — вздохнула Секлетия.

Он, переступая порог, пьяно ударился плечом о косяк.

— Охо-хо! Господи!

На темной дороге кто-то широкий и приземистый месил грязь. Евламний Никитич нагнал — Иван Слегов на костылях, последний с собрания, все остальные уже разбежались по домам.

— Иван... — Тот, работая костылями, оглянулся — под шапкой глаз не видно — Иван, слышал?.. Молчали!.. Что ж это? А?.. Что такое?!

— Жизнь, — короткое слово, как клок бархата, ровным баском.

Евламний закричал тонким от горя голосом:

— Не жизнь это — бл.....! Жизнь-то покатится, что бочка с горки! Никодимов какой-то! Он вас не пожалеет, на распыл пустит.

— Может быть.

— И ты спокоен?

— А я волноваться-то отучился.

— Все молчали! Бараны! Их под обушок ведут!.. Ты-то умней других! Ты-то лучше меня знаешь, чем все это пахнет! Тоже молчал!!

Крепкая, накачанная костылями рука Ивана взяла за локоть, повернула Евлампия лицом к себе. Глаз не видно под шапкой, только рот да упрямый подбородок.

— Ты много от меня хочешь, Пийко. Совет в делах — готов, спасти тебя — уволь.

Евламний Никитич стоял посреди улицы, смутно различал, как борется в темноте со своей немощью Иван Слегов.

«На днях получите окончательное решение...» Но с решением пришлось повременить. В области собиралось крупное колхозное совещание, оттуда запросили — командировать Лыкова как участника. В последнее время фамилия Евлампия Никитича уже постоянно мелькала в отчетах — вверху знали, есть такой.

Сообща — не может выехать, потому что спят, значит, и объясни — почему. Значит, не исключено, налетишь на упрек — разбрасываетесь кадрами, не занимаетесь воспитанием. Там, глядишь, заставят пересмотреть решение, потребуют ограничиться выговором. Пусть прокатится, а как только вернется — решение о снятии будет уже ждать. Обречен.

И Лыков это понимал, надеждами себя не убаюкивал. Однако — терять-то нечего — готовился дать бой, выступить с высокой трибуны, видите, мол, дорогие товарищи, председателя на издыхании снимают!..

Впервые он присутствовал на таких больших совещаниях — людей без малого тысяча, его затерли где-то в задних рядах, самый неприметный, таким счет ведут даже не на дюжины, а на круглые сотни. В кармане — заветная бумажка, наизубок ее выучил, со сна спроси — не запнется. Бумажка с жалобой, стоишь и вошь души.

Но шло совещание, и час от часу все сильнее он впал в уныние. Что его жалоба!.. Область вылезала из тяжких голодных лет. Чего только не рассказывали с трибуны: в таком-то районе заставляли сеять созревшей рожью, а в таком-то и вовсе не засевали, в отчетах пером выводили цифру — засеяно.

Конца нет жалобам, каждый норовит выставить свою нуждишку, надеется на помощь. У него, Евлампия Лыкова, сравнить с другими, беда не так уж горька.

Бумажка жжет карман, она выучена наизубок. Грош цена этой бумажке!

И тут-то Лыков смекнул: не след слезу пускать, без нее — море разливанное. Он начал про себя сочинять другую речь.

С далекого красного стола на сцене председательствующий объявил:

— Слово предоставляется товарищу Лыкову, председателю колхоза из Вохровского района.

Пора... Лыков, наступая на ноги, выбрался к проходу, зашагал по длинному ковру, продолжая сочинять речь.

— Товарищи!..

Тысяча голов, тысячи глаз, только что сидел неприметный в заднем ряду, никто и не подозревал о твоём существовании, пробил час — к тебе внимание.

— Товарищи! Тут я слышу — все больше жалуются на жизнь. А у нас нет охоты жаловаться и слезы лить... Тишина. Внимание.

— Да разве можно нам жаловаться, товарищи, когда в прошлом году мы получили по сто пудов с гектара, а в этом поболее...

Аплодисменты смяли тишину. Они прокатились от передних рядов к задним — и снова тишина, снова внимание. Заметил: у тех, кто сидит поближе, широкие улыбки на лицах. Эх, люди, люди, осточертели вам жалобы, черно от них, как вас не понять. Наверно, у каждого сейчас в голове вертится нехитрая мыслишка: раз где-то люди уже хорошо живут, значит, и мы жить будем.

И Евлампий Никитич не давал опомниться, хлестал фактами: строим то, строим это, собираемся строить... Тишина. Слушают!

— Мы, товарищи, твердо взяли курс на индустриализацию села!..

И тут-то зал грохнул. «Индустриализация» — святое слово, святее нет, оно в каждой газетной статье, в каждом докладе, в каждом лозунге на стене. Но ведь это-то слово всегда связано с городом, с заводскими трубами, с прокатными станами, а тут село, бывшие лапотники, такие же, как все. Взяли курс, а мы что, лыком шиты, нам топтать по той же дорожке. Зал грохал аплодисментами.

Где-то в зале Чистых, интересно — аплодирует он или сидит сложа ручки?

И Евлампий Никитич ни слова не обронил, что его снимают с работы. Зачем? Пусть теперь попробуют.

Ему не дали спуститься в зал, к своему месту. Секретарь обкома, с революции прославленный человек, встречавшийся с Лениным, член ЦК, поднялся, аплодируя, подошел к трибуне, взял Евлампия Никитича за локоток, повел к столу президиума. Какой-то военный с ромбами на петлицах уступил свой стул — честь тебе и место, товарищ Лыков, ты наша краса, наша гордость.

Через год Лыкова от области выдвинули делегатом в Москву на Первый съезд колхозников-ударников.

Этот съезд был праздничным. Как давний сон вспомнились первые годы коллективизации — скот, сгоняемый со дворов, кулацкие семьи с сидорами, идущие на высылку, угрозы и слезы, проклятия и жалобы, «головокружение от успехов». Позади пироги из куглины, детские вздутые животы, заброшенные поля, заколоченные деревни. Позади и угрюмое, упрямое мужицкое недоверие к колхозам: «Рази можно? В семье свары, а в артели-то в об-

щей куче и вовсе друг дружке горло перегрызем». Оказывается, можно — не перегрызлись, живы, справились с недородами, снова стали есть досыта, на базары повезли... И город ожил, забыл карточки, в магазинах и сыры, и колбасы, и конфеты на выбор. Наверное, по всей стране великой, от Балтики до Тихого океана не было ни одной самой маленькой деревни, которая бы не поднялась, не воспрянула. Можно артельно!..

До коллективизации трактор считался диковинкой, появлялся не столько для работы, сколько для показа — стар и мал высыпали, чтоб поглазеть: «Ох, страховиден! Ох, керосином воняет! Сошка-то к земле привычней». А теперь никто и головы не повернет на ползущий по полю трактор. Даже комбайн не диво, а скажи раньше мужику, что есть такая машина — сама жнет, сама молотит, сама солому коннит, — махнул бы рукой: «Бабы сказки!»

И бабы нынче полезли на эти трактора, на эти комбайны. Бабы, которым испокон веков мужик доверял только три «механизма» — печь, прялку и серп, коса уже считалась не к бабым рукам. Гремят по стране имена Марии Демченко, Паши Ангелиной, Полины Виноградовой...

Праздничный съезд колхозников. Всем казалось — трудности позади, впереди лишь победы, ведущие в сказочные времена, к молочным рекам и кисельным берегам.

Лыков не робел, выступил с той же трибуны, с какой говорил свое слово сам Сталин. Правда, шуму особого не наделал — не областной масштаб. Да навряд ли Евлампий Никитич смог теперь удивить кого и в области — многое изменилось за один год, появились колхозы, догонявшие лыковский.

Однако, кой-кого потесня плечом, Евлампий сумел пролезть, снялся на фотографии вместе с вождем. На одной фотографии со Сталиным!

На этот раз на станции его встречала целая делегация во главе с товарищем Чистых. Чистых жая руку, поздравлял, но глаза отводил. Не любили они друг друга, жили по пословице: «Худой мир лучше доброй ссоры». С районными уполномоченными Лыков теперь обходился суровенько: «Сами с усами».

Дома же, в конторе, сидел, прислонив к креслу костыли, угрюмый, буднично небритый, начавший уже наживать бухгалтерские мешочки под глазами, Иван Слегов. Вместо поздравлений он известил:

— Пахнет дракой, Евлампий.

— Какой дракой? С кем?

На самом деле, кто в Вохровском районе осмелился сейчас поднять руку на него, председателя Лыкова, увековеченного для истории на одной фотографии с самим Сталиным?

— Как бы Чистых тебе синяков не наставил.

— Синяков?.. Хм... Только что под локоток провожал.

— Мало ли что. Похоже, слабую жилу у нас нашел.

— Какую?

— Приусадебные участки.

Сталин заявил на съезде, что колхозник имеет право на личное приусадебное пользование землей, им была даже произнесена цифра — двадцать пять соток.

Не кто иной, как Иван Слегов, год назад посоветовал урезать приусадебные участки колхозников «Власть труда» до пяти-шести соток. С ним согласился Евлампий Лыков.

Во время сева дорог каждый час, каждая пара рабочих рук, а колхозникам приходится копаться на своих огородах — раз нарезали землю, то должна же она быть обработана. Большой участок лопатой не вскопаешь, требуется лошадь, а отрывать лошадь в разгар сева от колхозной пахоты — совсем не дело. И велика ли нужда в больших личных огородах? Колхозник засеет их картошкой, но такую же картошку он получает и на трудодень, как и зерно, как и овощи. Для чего колхознику разрываться надвое между колхозной работой и своей усадьбой, не лучше ли оставить ему под домом клочок земли на несколько грядок, чтоб был лук под рукой, морковь, свекла, капуста свежая в щи? Несколько грядок много времени и сил не отымут, обрабатывай их вечерами, на досуге, по-семейному, и лошадь не проси. Колхозники особо не возражали — участки и для них бремя, вечный раздор с бригадиром за лошадь. Зачем возиться со своей картошкой, ежели ее можно получить из колхоза.

Но сам Сталин...

Э-э нет, дорогой товарищ Чистых, нас этой дубинкой не пришибешь — подкованы, отлягнемся.

Евлампий Лыков стал ждать, когда Чистых нагрянет в колхоз.

Чистых не нагрянул, он вызвал к себе Евлампия Лыкова, на бюро.

— Вам — что, слово вождя не указ? Не желаете шагать в ногу со страной? В славе купаетесь? Слава-то глаза застит, смотреть трезво мешает! Вы думаете, что уж так

высоко взлетели, что вас никто рукой не достанет? Ошибаетесь! Кто вас поднял из низов на высоту? Мы подняли! Мы — народ и партия! Нужно будет, мы и страхнем с облаков на землю!

Лыков пробовал показать зубы:

— Словом-то товарища Сталина не прикрывайтесь. Вы это слово неверно понимаете. А потом, разве вы, товарищ Чистых,— народ? Разве партия — вы один? Я тоже в партии и уж никак не по вашему желанию из парода-то вырос...

Но Чистых прятал тяжелый козырь. Им-то он и пошел:

— Лыков не согласен с товарищем Сталиным, готов его поправить. Что это — чванство или самовлюбленность? А может, что-то похуже?.. Оглянемся назад, вспомним, с чьей помощью прославленный Лыков начал свое хваленое строительство? У кого он брал, скажем, кирпич? Не припомните, дорогой Лыков, у кого именно?

— Помню и в документах представил,— ответил ничего не подозревающий Евлампий.— На Лелюшинском кирпичном заводе.

— А кто им тогда руководил, этим Лелюшинским заводом, не вспомните?

— Почему же, помню: товарищ Шаповалов.

— Ага! Память хорошая... Так вот, этот ваш старый товарищ на днях...— Чистых с суровым торжеством оглядел всех,— на днях арестован! Да! Как троцкист! Отсюда вывод: не следует ли нам повнимательней прощупать вас, Лыков? Ведь рука руку моет...

И даже те из районных работников, что сочувствовали Евлампию Лыкову, шарахнулись в сторону.

Чистых выдвигал нешуточное обвинение, надо было срочно принимать меры.

Какие?

Обком! Только там могли обуздать Чистых. Первый секретарь обкома, тот самый, кто после памятного выступления усадил Евлампия Лыкова рядом с собой за стол президиума, в обиду не даст — пожалеет Чистых, да поздно будет.

Евлампий сел за письмо: разберитесь, поддержите, оградите от незаслуженных обвинений — крик о помощи!

Письмо он копчил писать поздним вечером, а утром добежал до почтового отделения и сунул в ящик возле дверей.

— Газетки возьмите! — голос Лизки-почтарки, толь-

ко что выскочившей из дверей почты с нагруженной сумкой.

Взял свежие газеты, пошел в контору, отдал газеты Ивану Слегову, сам было рванул к дверям — в поля, на ветер, где легче дышится, где обступают привычные заботы.

Но удивленный возглас Слегова остановил его на пороге:

— Вот так та-ак!

— Что?!

— Веселые дела: косой по шее — и головы нет.

— Что там?

— В нашей области открыта вражеская группировка. Арестованы... — И Слегов начал читать фамилии.

Евламий бросился к столу, вырвал газету.

Нет, не ослышался — первой в списке стояла фамилия того, на чью помощь он рассчитывал.

Весь в поту, он побежал снова на почту, сунулся в окошечко, стал объяснять:

— Клаша, дорогуша, я тут письмо опустить поторопился... Деловое. Оказалось, нужно там кой-какие уточнения сделать... Очень важные... Открой ящик, пожалуйста, выуди оттуда...

Письмо врагу народа. Письмо, просящее у врага помощи. Этим письмом заинтересуются, автора письма возьмут на прицел. А этот автор уже на крючке.

Заведующая Пожарским почтовым отделением Клашка Коробова, соседка Лыковых, рада была услужить, но...

— Мы отправили почту, Евламий Никитич. Только что. Ну, десять минут назад подвода отошла.

— А ежели я на лошади, верхом... Ведь нагоню же?

— Нагнать-то их и пешком не трудно. Кони у нас, сам знаешь, развеселые.

— Вот и добро, вот и слава богу... Я сейчас на конюшню и быстренько...

— Не утруждайся зря. Письмо-то в общей почте, а почта опечатана. Никто ее до места вскрыть не имеет права...

— Что же делать?

— Новое письмецо напиши, с поправочками.

— А ежели я в Вохрово сейчас, на почту-то, раньше ваших прискачу?

— Тогда другое дело. Заявление напишешь — отдадут.

— За-аяв-ление!..

Письмо-то на имя врага, письмо-то, просящее у врага помощи. Писать заявление, вызывать к письму интерес. Ну нет, авось пронесет.

И Евлампий Лыков стал ждать, успокаивая себя — как-никак он человек заслуженный, на одной фотографии снят с товарищем Сталиным... И сам понимал, сколь зыбки эти утешения.

Евлампий ждал, бегал по полям, по фермам, старался как можно больше бывать на народе. Среди людей легче, среди людей и под солнышком, под светом белого дня. Зато ночами лежал и вслушивался в каждый звук за окном, не смыкал глаз.

А давно ли встречали его из Москвы, жали руки, приносили речи?.. Давно ли?.. Скажи кто-нибудь в те дни, что Чистых так оседлает, посмеялся бы — у мужицкой лошадки, мол, тоже копыто твердое... Ночами не спалось.

Не ночью, а ясным днем пришло известие. Лизка-почтарка принесла ему шершавую, в голубизну, бумажку, отпечатана в типографии, только его фамилия проставлена от руки, фамилия, день, час — вызов в районный комиссариат внутренних дел с остережением: «В случае неявки в указанный срок...»

Запряг лошадь, поехал. В начале дороги знобило, потом словно окаменел, а когда входил в комнату начальника, чувствовал себя даже спокойным: «Была не была, какой да ни на есть, но конец. Все лучше заячьей жизни».

Начальника Бориса Марковича Осокоря он знал, как и всякого из районного побочного начальства, приходилось здороваться за руку, сиживать за одним столом. Борис Маркович Осокорь был тихий, какой-то печальный человек, глаза застойные, как у замученной лошади, до синевы выскобленный подбородок и большой, вечно сомкнутый рот. Даже военная форма со скрипящими ремнями не придавала ему внушительности — спина сутулится, гимнастерка на груди висит мешком. На заседаниях он обычно молчал, был чем-то вечно озабочен, может, семейными делами — ходят слухи, жена у него погуливает с учителем физкультуры.

И кабинет у Осокоря обычен: стол с пресс-папье и дешевым чернильным прибором, стулья вдоль стены, окно, в которое зудяще бьется залетевшая оса, над столом портрет — сухощавенькое личико подростка, недавно обьявившийся «железный нарком» Ежов. За столом — чис-

то выбритый, устало печальный хозяин. Евлампий Лыков подумал: «И в такой-то скуке прячется твоя беда... Была не была...»

Осокорь протянул из-за стола руку, пригласил:

— Садитесь, прошу.— Извинился с ходу: — Простите, что в горячую пору отнимаю время.

Ишь ты — «простите», а в бумажке-то, что лежит в кармане, сказано: «В случае неявки в указанный срок...» — без всяких «простите».

Усаживаясь, старался глядеть как можно невинное, производил впечатление.

— Что вы можете сказать нам о Чистых Николае Карповиче?

— Как — что? То, что все знают.

— Не кажется ли вам, что этот... гм... Чистых не очень, и весьма даже, расположен к вам лично?

— Борис Маркович! Я уважаю товарища Чистых, принципиальный, честный... И характер у него... ну, непреклонный, что ли... И конечно, он бдителен... Но...

— Но с вами он поступал возмутительно! Вы ведь гордость нашего района.

— Возмутительно?.. Я этого не говорю... Просто мне казалось, возможно, я ошибаюсь, если не так, вы уж, пожалуйста, поправьте...

— Ну, ну проще, по душам.

— Ежели по душам, то товарищ Чистых кой в чем передергивает...

— Евлампий Никитич, вот вам лист бумаги, присядьте сюда, вот чернила, вот ручка... Прошу... Напишите, в чем передергивает Чистых, какие выпады он по вашему адресу совершал, как он порочил ваше громкое имя...

— Но...

— Никаких — но! Не стесняйтесь... Скажу по секрету: он пытался на нас оказать давление, и даже весьма сильное. Наши органы не клюнули на эту удочку. Так что никаких «но». Пишите.

За твоей рукой, из-за твоего плеча следят чужие глаза. В другое бы время путались мысли, выпадало перо, и при полном-то покое Евлампий Никитич был не мастер сочинять, но сейчас он собрал себя в кулак, а потом недавно писал письмо в обком, к тому... Памятью бог не обидел — письмо он помнил слово в слово.

— Не миндальничайте. Смелее!

Странно. Может, это ловкий ход самого Чистых? Га-

данием делу не поможешь. Была не была! Сказал «господи», скажи и «помилуй».

Товарищ Осокорь прочитал написанное и в общем-то одобрил:

— Мягковато местами. Не то чтоб весьма, но мягковато. И величать его товарищем, в общем, не обязательно... Подпись поставили? Ну и прекрасно... Спасибо за помощь, Евлампий Никитич. Весьма вам обязан.— Протянул вялую, влажную руку: — Маленькая просьба: ни один человек до поры до времени не должен знать о существовании нашего разговора.

— Ясно, Борис Маркович.

Ни черта не ясно.

Светило солнце, голубело небо над головой, ветерок гнал волны по полям начавшей белеть ржи, лошадь везла его домой.

Навстречу пылила легковая машина, крытая брезентовым верхом, единственная легковая машина на весь район. Она проскочила мимо, обволокла лошадь и Евлампия пылью, мелькнула физиономия Чистых с упрямыми крепкими щеками. Чистых, конечно, узнал Лыкова, — нельзя было не узнать, — но машины не остановил, не косил глаз в его сторону, не удостоил внимания...

Чистых и Осокорь в сговоре, они-то друг к другу ближе, рука руку моет, не трудно договориться, как утопить колхозного председателя с нашумевшим именем. Но что-то есть необъяснимое, — как, например, понимать брошенные вскользь слова: «И величать его товарищем не обязательно»? Что бы все это могло значить? Ни черта не ясно! И весьма даже!

Ясно стало через пару дней — Чистых арестовали. Чистых, а не Лыкова!

В районе, как всегда, созывались совещания, пленумы, партконференции, везде клеймили Чистых — подлый выродок, продажный наймит, запутался в связях, проводил вредительскую политику, и вот вам пример — намеревался опорочить одного из лучших по области председателей, развалить лучший колхоз...

Лыков родился в рубашке. Новое начальство трусливо заискивало. Еще бы, имя Лыкова приобрело такую угрожающую силу, что он и сам его боялся.

Спустя полгода арестовали Бориса Марковича Осокоря. А Лыкова — нет! Никто даже не ведал, что он ког-

да-то послал письмо на имя уже обезвреженного врага, у врага просил помощи. Где-то это письмо счастливо затерялось.

В рубашке родился Евлампий Лыков!

* * *

Старый Чистых отбыл в дальних краях почти двадцать лет — начисто облысел, сморщился, потерял зубы. После реабилитации вернулся в Вохрово сразу, получил партбилет, пенсию, комнату, — руководящей должности уже не предложили. Николай Карпович любил с важностью повторять: «Я перед своим народом чист как слеза». Этой чистоты он требует и от других, посвятил себя искоренению недостатков, во все инстанции пишет жалобы: в парикмахерских очереди, при коммунальной баше не торгуют мылом, продавщицы в магазинах хамски ведут себя с покупателями, такой-то ответственный работник пьет горькую... Имя одного человека он никогда не упоминал ни устно, ни письменно — Лыкова. Зато о сыне своем он отзывался кратко: «Лизоблюд!» К сыну в гости никогда не приезжал, даже внуков, неизвестно, видел ли в глаза. Молодой Чистых отца все-таки навещал, навряд ли часто и навряд ли охотно.

Евлампий Никитич вместо отца родного... Что ж...

ЧИСТЫХ-МЛАДШИЙ

Примерно через год после ареста секретаря райкома в селе Пожары произошел маленький случай.

Иван Слегов приходил по утрам в контору всегда первым. Жена засветло вставала, подымался и он. Она уходила на поля, и он брался за костыли — не любил слушать тишину в доме.

Раз он тащил по росе свои валенки, обремененные галошами. В спину кричали петухи, в лицо дул свежий ветер с реки, клал на крыши дым из труб. Село раскачивалось со сна.

В этот-то ранний час, подходя к крыльцу конторы, он увидел народ: несколько баб, собравшихся на работу, а перед ними, опираясь на стянутую проволокой берданку, картуз сбит на затылок, физиономия победно-генеральская, хотя и давно не брита, стоит, выставив тощее бедро, ночной сторож Кривой Трифон.

— Что за митинг?

Бабы, издали заметившие ковылявшего бухгалтера, все как одна прорвались хором:

— Гостюшки ночные объявились!

— На запашок прискакали!

— А ведь молоденькие, мо-ло-денькие!

— Не стыдно небось зенками-то лупить...

— Цыц! Закудахтали, бесхвостые! — стукнул о землю треснувшим прикладом Трифон, с вальяжной картинностью отступил. — Глянь-ко, Иваныч, на деле уловил.

На ступеньках крыльца, прижавшись друг к другу, сидели трое, лет по шестнадцати, босые, лохматые, с пугливым онемением мигающие широко распахнутыми глазами. У одного вырван рукав, проглядывает тощее плечо, у другого бархатный синяк под глазом.

— При исполнении мною служебных обязанностей было оказано сопротивление...

— Оно и видно, жизнь подвергал опасности.

— Ну не то чтобы уж жизнь, — заскромничал Трифон. — Это, значит, марширую я мимо старой кузни, но ухо держу остро, службу помню...

Старую кузню Лыков недавно переоборудовал в копильню. Коптили свиные окорока и грудинку — дело новое, а потому доходное. Туда-то и залезли три охотничка, сломав замок.

Через час их разглядывал исподлобья сам председатель.

Тот, у кого фонарь под глазом, — длинный, узкий, даже сквозь рубашку видно, составлен из хрупких хрящиков, шею пальцем перешибить можно, лицо щекасто, и глаза светлые, круглые — совенки.

— Как фамилия? — спросил его Лыков.

— Чистых.

Лыков долго молчал, посапывая.

Он, как и все, знал, что у арестованного Николая Чистых остались жена и сын. Жена, первая в Вохрове модница, в районном клубе, который Лыков помог покрыть железом, играла в спектаклях самодеятельности обманутых девиц, теперь же на железнодорожной станции лопатой-грабаркой чистила шлаковые ямы. Что делал сын? Кто этим интересовался. Выходит, промышлял.

— Хочешь стать человеком?

Парнишка заплакал.

Чувствовал ли Евлампий вину за отца или просто пожалел сироту? Неизвестно. Но на полевые работы он парня не послал.

— Хлипок, долго не выдюжишь, сбежишь. Снова начнешь щупать замки. Ты сколько классов кончал?

— Восемь.

— Грамота есть. Будешь помогать избачу. Нам так и так культурные штаты расширять надо.

Валерка Чистых получил на харчи пятнадцать трудодней в месяц, угол в доме одинокой Ключовишны (Михайло Чередник пристроился к одной вдовушке) и уличное прозвище — Приблудный.

С первых же дней он отличился примерным старанием: сам полы мыл в читалке, ни одна газета не стала уходить по рукам на раскурки — подшиты, пронумерованы, спрятаны под замок, во всем полный порядок. Но старание-то обычно замечается в поле или на скотном дворе, там за это лишний трудодень подкидывают. В избе же читальне хоть из кожи вон лезь, а особой награды не жди — назначено тебе пятнадцать трудодней в месяц, получи и не гневайся, так как новых центнеров хлеба, новых литров молока твое старание не приносит. Газетки бережешь, эка заслуга — ты в колхозном стаде яловая корова. Избач — самая бесперспективная должность, попробуй тут обратить на себя внимание.

И падо же, Валерка Приблудный обратил...

Сам ли додумался, или откуда-то из газет выудил идею — никто не дознавался. Идея нехитрая: следует собирать материал по истории колхоза. Колхоз-то со славой, сколько о нем сейчас трубят, в прошлом трубили, а ведь покричат да забудут, а зря.

Своя история... Всем это поправилось, а больше всех Евлампию Лыкову.

И сразу Валерка Приблудный стал полезен, не так, как, скажем, доярка, конюх или плотник, нет, конечно, но все-таки... Не зря же вспомнили: полтрудодня на сутки получает, не густо, у почного сторожа Трифона Кривого заработок куда больше, давайте-ка ставить парню «палку». «Палка» на день, целый трудодень — можно уже не только быть сытым, но, поднатужившись, скопить деньжат на новые сапоги.

Решением правления Валерке выделили даже особый фонд — конечно, копеечный — «на восстановление утраченных материалов по истории колхоза». Впрочем, Ва-

лерка этими фондами не смел пользоваться, пешком бегал в Вохрово, целыми днями сидел в районной библиотеке, ворошил подшивки старых газет — те, что до его прихода были раскурены из читалки, — искал статьи, где хвалили колхоз «Власть труда». Газеты он обычно «изымал», если не удавалось тайком изъять, сговаривался с машинисткой и перепечатывал. Все материалы он складывал в особую папку.

Конечно, Валерка сообразил, что Евлампии Никитичу не столь уж интересно будет видеть материалы, где его не упоминают. Поэтому история начиналась с Евлампия Лыкова.

По сей день существует почетная должность колхозного историка, совмещенная для экономии с должностью библиотекаря. Толстые папки с историческими документами ныне хранятся уже не в простом шкафу, а в специально купленном сейфе. Однако этот сейф охотно открывается любому, кто проявит интерес.

Интересовались приезжие очеркисты, они, с легкой руки Валерки Чистых, возвестили всем, что колхозная жизнь в селе Пожары начинается с Евлампия Лыкова, он первый, он единственный, других таких исторических личностей не было. К этому времени Матвей Студенкин работал простым конюхом, равнодушный к тому, что вычеркнут из истории.

Лыков строился, районная и областные газеты отмечали каждую его удачу — в колхозе «Власть труда» появился новый коровник, новый свинарник, клуб со стационарной киноустановкой, — Валерка добросовестно собирал эти сообщения. Коровник, свинарник, клуб, а колхозная контора размещалась все еще в старом тулуповском доме. Иван Слегов — уже не простой счетовод, подымай выше — главный бухгалтер. У него целый штат — счетовод-помощник, делопроизводитель, кассир. Все они ютились в одной комнатухе, вытеснив стол председателя Лыкова за дощатую перегородку. Теснота, толчея, шум, махорочная вонь и никакой представительности, словно здесь не штаб процветающего колхоза, а бригадный толчок в захудалой деревеньке. Пора было строить новое здание колхозного правления.

Его возводили два года под личным присмотром архитектора из областного города. Тот знал свое дело: поставил толстые колонны возле входных дверей, а перед

ними широченное крыльцо из цементных плит, крыльцо гостеприимное — милости прошу.

У Ивана Ивановича Слегова — отдельный кабинет, соединенный дверью с просторной комнатой, где сидел его счетоводческий штат. В углу отгорожен особый закуток для кассира — тяжелый нестерраемый шкаф, узкое окошечко, весьма неудобное, на случай если вдруг да кому вздумается через него потянуться к кассе.

У Слегова — апартаменты, а уж кабинет Евлампия Лыкова — районное начальство бедные родственники. Все как положено: два стола, один под сукном цвета озими — персональный, другой под кумачом — заседайте с удобствами.

На столе Лыкова — черпильный прибор, чугунный младенец с крыльями, вещь памятная, служащая колхозу с самого зарождения, рано ли поздно в музей пойдет; на красном столе — графины с водой, не один — несколько, захотел пить — изволь, не надо бежать в угол к ведру с ковшом. Кстати сказать, при первом заседании правления на новом месте графины так понравились, что к ним не переставая деловито тянулись, все осушили до капли.

Казалось бы, стульев хватает, но нет, есть еще мягкие диваны, да такие, что и сесть не посмеешь, особо если ты прибежал прямо с поля в рабочей одежке. У самого хозяина креслице с высокой спинкой. По правую сторону от него этажерка, всего в две полочки, верхняя — для толстых книг — «Капитал» Маркса, скажем, поставить, нижняя — пустая, картуз с головы сунуть сподручно. По левую — фикус, самим Лыковым у жены реквизированный, листья словно вырезаны из хромового голенища, уборщице строго-настрога наказано поливать его каждый день.

Выше самого председателя — вождь во весь рост. Когда Лыков сидит в креслице, макушку его попирают начищенные сапожки.

И попасть в эти с любовью оформленные покои можно было только через маленькую проходную комнатушку и двойную, с тамбуром, дверь, тепло обшитую клеенкой. Шагнул за порог, казалось бы — ты уже у председателя, а нет, погоди, еще одна глухая дверь, берись опять за ручку, проникайся.

У таких дверей положено сидеть специальному человеку — личному секретарю, хорошо разбирающемуся в том, кого сразу пропустить, кого попридержать, а кому и просто дать от ворот поворот.

Валерка Чистых был на примете. Валерка знал грамоту и вежливое обхождение. Его-то и усадил Евлампий Лыков у своих дверей за столик с телефоном.

У Валерки Приблудного появилась власть. Если ты не бригадир, не посыльный от бухгалтера Слегова, если ты не при почете, так себе, рядовой колхозник, да еще лезешь со своей пуждишкой — э-э нет, не спеши.

— В чем дело? — круглый глаз со строжинкой, остро отточенный карандашик на весу.

Объясняй, положено, человек при службе. И невольно назовешь его по имени-отчеству. А давно ли молокососа Тришка Кривой на воровстве застукал, с позором привел, да еще синяком украсил. Ай да Приблудный!

Валерка женился, не с разбегу — с разбором. Взял Галку Купцову, сама девка спелая, дом большой, хозяйство не запущено, теща покладистая.

Он просидел только год у лыковских дверей. Началась война: Валерка вместе с другими парнями был потревожен военкоматом, оставил насиженный стул, дом, молодую жену, собирающуюся родить.

* * *

Старый бухгалтер качнулся к дверям. Выяснить родственные чувства Валерия Чистых — кто ближе, умирающий председатель или отец-пенсионер? — желания не было. Пора восвосяи.

— Иван Иванович! — У Чистых нетерпеливая дрожь в губах и в ласково выкаченных глазах надежда.

Иван Иванович надавил на воротник пальто пухлым подбородком, секунду поглядывал через плечо, спросил:

— Ну что тебе, голубчик? Что-то ты от меня хочешь? Не крути, говори прямо. Скоро ночь на дворе, а меня по старой немощи к постели тянет.

— Иван Иванович, извините, я машину отпустил на полчаса. Не думал, что мы тут так быстро...

— Вот как. Вроде бы в плен меня забрал. Ну, что же тебе от меня нужно?

— Одним словом не скажешь, Иван Иванович. Разговор серьезный. И по душам хотелось бы... Коль разрешите, я тут к местечку сведу, посидим с глазу на глаз.

— Что ж, раз машину спровадил... Давай.

— Тогда сюда, пожалуйста. Вот сюда...

Чистых, бесплотно касаясь рукава главного бухгалтера, повел к двери, прячущейся за выступом печи.

За все тесное, больше трех десятков лет, знакомство с Лыковым Иван Иванович ни разу не бывал у него в гостях, ни в старом доме, ни в этом новом, выстроенном после войны. Зато Чистых, по всему видать, свой человек.

— Сюда... Осторожненько, тут порожек.

Узкая комнатунка с несвежими обоями была занята. На смятой койке, уставившись в синее вечернее окошко, сидела жена Лыкова.

— Ольга Максимовна, уж извини...

Ольга покорно поднялась.

— Извини, у нас важный разговор.

Иван Иванович каждый раз удивлялся Ольге. Лицо, словно вымоченное, выжатое, да так и высохло — в сплошных морщинах, даже цвет глаз голубовато-блеклый, старческий. Такая бы подошла в пару любому из деревенских дедов, что коротают век на побочной работе — вяжут корзины, чинят сбрую, — и уж никак не Евлампию Лыкову, вокруг которого всегда все ходило ходуном. И возраст ее не столь уж велик — только-только перешло за пятьдесят, — и трудилась не больше других, и родами не измучена — выносила всего двоих, чем же так жизнь ее измочалила?

— Ольга, зря мы тебя тревожим. Сиди. Мы в другом месте приткнемся, — сказал Иван Иванович.

— А мне все одно где, — равнодушно отозвалась она.

— Странная ты баба — скучна, словно ничего не случилось. Неужели о муже не горюешь?

— Разучена, — бесцветно обронила Ольга.

— Что — разучена?

— Да все... Горевать, радоваться...

— Ну и ну!

— Устала я! О господи!

Она вышла, тихо прикрыв дверь.

— Не обращайтесь на нее внимания, — успокоил Чистых. — Не привыкла. Вам вот на коечке будет удобно. Я — на стул, он хроменький.

В синем сумерке за окном вплотную стояли угрюмые заснеженные поленицы. В этом доме как-то все не вязалось с Лыковым. Иван Иванович вспомнил еще лыковских сыновей, двух великовозрастных лоботрясов, и подумал: «Задворочки-то у Пийко невеселые».

Он поставил перед собой костыли, приготовился слушать. В общем-то, он догадывался, о чем пойдет разговор.

За стеной лежит пока не холодный труп, еще там теплится жизнь, но людские страсти с этим не считаются.

По селу в каждой избе откровенно гадают — кто? В районном городе Вохрово идут глухие суды и пересуды — какие кандидатуры? Наверняка кто-то из номенклатурных, как кот на скворца, облизывается на жирное лыковское местечко. И даже в области, в высоких инстанциях, озабочены.

Лыков пока жив, но уже не настолько, чтоб живые считались с ним.

Вот и этот Чистых, чтящий Евлампия Никитича за отца родного...

Иван Иванович ждал, что разговор начнется издалека, с ошупкой, с пристрелкой — наберись терпения. Но Чистых начал в лоб:

— Коренник выпал из упряжки, как бы наши саночки косо не пошли, не опрокинулись. Загодя спасать надо, Иван Иванович.

— И у тебя, наверно, план есть?

— Да, есть.

— Гляди ты, какой дальновидный. Что ж, выкладывай, послушаю.

— В прежние-то годы жизнь наша шла, как часы, — снаружи стрелки, внутри пружина. Евлампий Никитич нашими стрелками был, на виду на примете, время по нему узнавали. А пружина... пружиной-то колхоза, всем это известно, вы были, Иван Иванович!

— Хм...

— Если бы эти годы вернуть. А можно, можно, Иван Иванович! И очень просто...

Широкое лицо бухгалтера замаслилось от удовольствия:

— Ясно! Оч-чень даже. Могу и не утруждать тебя дальше, сам все готов выложить.

— Не хитро, Иван Иванович, признаюсь. Потому и словил умного человека, чтоб посоветоваться.

— Хочешь сказать: дедушка Иван, есть такой молодец-удалец, который бы в оба уха ловил каждое твое слово. Тебе, калеке, удобно, и молодец не останется в накладе, времечко старое вернется, заживем припеваючи. Так ведь?

— Ну и что? — смиренно признался Чистых. — Ловил бы ваше слово, считался с ним.

— Так сказать, починить подержанную пружинку.

— Чинить, Иван Иванович, нет нужды. Она еще работает.

— Спасибо! Ой, спасибо большое, что уважил! Ведь

в самую точку попал, не глядя, в самую! Конечно, я стар, конечно, в ногах нет прыти, но тоже не хочется пустым-то местом быть. Ой, как не хочется! Когда-то метил — уж что скрывать! — в отцы-командиры. Осечка тогда вышла. Но, право, ежели теперь попробовать?.. В голове шагать не могу, но командовать можно и сидючи. Почему бы и нет?.. Ведь как просто, надо только мальчика найти не тугого на ухо. Я ему — шепотком, он — эдаким дискантиком. Любо-дорого, споемся. Да ты мне, брат, мечты молодые вернул!

Чистых, отвернувшись, спросил тихо:

— Не надо мной издеваетесь, над собой. Зачем это?

Иван Иванович сразу посерьезнел, пропал блеск под опухшими веками, втянул голову в воротник пальто, ответил ворчливо, с горечью:

— А что мне еще остается?

— Как что? — горячо вскинулся Чистых. — Не дайте залезть на место Евлампия Никитича какому-нибудь хвату, который станет ломать по-своему. Тридцать же лет строили, а теперь — ломать, теперь — по-новому! Не-ет, добром не кончится.

— Верно, старый дом с клопами все лучше кучи свежих бревен.

— Иван Иванович! Сейчас в колхозе нету никого такого, который бы авторитетом вас переплюнул. Скажите слово — вас послушают. Одно только слово! Назовите нужного человека — вам нужного! — поддержат колхозники, да и в районе возражать не станут. В районе тоже знают — Иван Иванович Слегов слов на ветер не бросает.

— «Сначала было слово, и слово было бог». Сотвори единым словом паишьку председателя...

— Не шутите, Иван Иванович, не пристало вам. Сила Лыкова к вам переходит. Людям же надо чье-то слово слушать. Ваше слово может теперь все сотворить.

— Тогда назови-ка — чье имя мне кликнуть? У кого это слух подходящий? А?

Чистых, чуть зарумянившись, выдержал взгляд бухгалтер, твердо ответил:

— Ошибаетесь, Иван Иванович. Себя не назову и не собирался.

— Да ну-у! А почему же? Чем ты не подходишь? На ухо чуток, характер покладист, дрессировку тоже прошел. Из тех умных собачек — хозяин только свистнуть собирається, а они уже на задних лапках здравия ему желяют. Лучшего, брат, не найду.

Красные пятна выступили на круглой, парнишечьи молодежливой физиономии лыковского зама. Он, вытянув тонкую шею, молчал, помаргивал птичьими глазами.

— За что?.. — наконец выдавил.

Ивану Ивановичу стало неловко. Теперь этого подмоченного зама любой мог клюнуть, не только он. Грозный-то заступник лежит в параличе.

— Ладно, парень, не будем выяснять. И разговор нам надо скорей кончать. Договориться не договоримся, а дерьмом друг друга накормим.

— Ненавидите! За что? Все меня ненавидят... За честность же! Только тем и виноват я, что честно службу нес. За это плевки получай!..

— Что же ты Леху передо мной не защищал, даже выгнать помог. А он тоже куда как честно свое дело исполнял.

— По слабости я его выгнал! Признаю! Пусть я слаб, а вы?.. Вот вы, Иван Иванович! Вы храбренький, как же. Словно вам неизвестно, что Леха Шаблов и Чистых на вожжах шли. Не лошадь винят, когда она прохожего потопчет, а извозчика. Что ж вы этого извозчика прежде не хаяли? Да что прежде, вы и теперь его боитесь! Вы и мертвым его бояться будете! Хара-аши!..

Чистых, с пятнистым лбом, с расширившимися, готовыми лопнуть от напряжения глазами, кричал на Ивана Ивановича.

* * *

Он прошел всю войну с комендантским взводом, с автоматом стоял в карауле у денежного ящика, у штабных землянок, потом получил погоны с широкой лычкой — старший сержант сам не караулит, а руководит караулом. При бомбежке на левом берегу Донца он даже был легко ранен, в госпиталь не пошел, остался при части.

В войну везло Валерию Чистых, после войны начались неудачи.

Он «сообразил» посылку из Германии, не бараклишко, не туфли, не шелковое белье, не отрезы на костюм, а... хозяйственное мыло. Жена Галка костила муженька на чем свет стоит — сынишка-то без штанов бегал, все начисто пообтрепалось. Она носила это мыло на базар в Вохрово. На дешевые послевоенные деньги кусок стоил двадцатку, да и то отворачивались. Продала все, кроме одного куска, и в нем-то, стирая, нашла золотые часы.

Валерий почевал со своим командиром взвода в покоех удепетнувшего немецкого барона, совсем случайно они обнаружили в стене тайничок — кольца с камнями, часы, цепочки, брошки, забавные ерундовицы, у которых, кто знает, есть ли даже названия. Взводный свою долю сохранить не сумел, стал менять золотое кольцо на водку и засыпался — отобрали. Валерий схитрил — посыпочки-то на проверку были самые безобидные, куски хозяйственного мыла, ишь, простота, покорыствовался.

На всю жизнь был бы богат. По двадцати рублей за кусок, глупая баба! Буханка хлеба в те годы стоила двести.

А по дороге из Германии у него стянули чемодан, как раз тот, где лежало кожаное пальто. Но второй чемодан он все-таки привез с собой, и не пустой.

На улице села Пожары, где свиньи раскачивали плетни, он объявился — костюм тонкой шерсти, манжетки из рукавов, зарубежный галстук, даже судить не смей, не ворованное, честные солдатские трофеи. Галке, безмозглой корове, тоже подарки — ночную рубаху, сквозь которую все бабье богатство до подробностей видно, и еще туфли, похожие на лисьи морды.

Со стороны каждому казалось: такому не в колхозе работать, в городе занимать руководящий пост.

Но что там город, в самих Пожарах повис в воздухе. Его старое место у дверей председательского кабинета было занято Алькой Студенкиной, молодой смазливой вдовушкой, муж которой погиб еще в сорок первом. Евлампий Лыков не собирался снимать Альку. Нечего и рассчитывать, что поставит бригадиром или заведующим фермой. Даже простым кладовщиком на склады не мечтай — занято тыловиками.

Валерий Чистых ходил по селу празднично нарядный, носил на лице, как вывеску, выражение — защитник родины, бывший воин пропадает без места. Не расстилать же ему лен с бабами? Старался чаще попадаться на глаза Евлампии Никитичу, чтоб не забывал — вот он, нужный человек.

Евлампий Никитич обещал, не отказывал: «Обожди, придумаем что-нибудь». Обещанного три года ждут, а Чистых недосуг. Галкины туфли были спущены, ночную рубаху, что наготу не скрывала, разглядывали охотно, похохатывали, но не покупали. Того и гляди, вскорости придется спустить костюм с галстуком в придачу — будешь серенькой овечкой в стаде. Жена плакалась — иди

пока в бригаду. «Молчи, дура!» Молчала, знала — крупно виновата, беды б не ведали, если бы не ее сноровка. Вот уж воистину, простота хуже воровства.

Помогла «лыковская паперть». Во время войны так стали называть широкое крыльцо новой колхозной конторы. Оно и вправду смахивало на церковное.

Война кончилась, но в Петраковской, в Доровищах, во всех окружающих селах и деревнях выдавали па трудовень по двести граммов зерна. По-прежнему к Евлампии Никитичу шли на поклон. Вдовы погибших фронтовиков, бывшие фронтовики, просто прижатые нуждой бабы и мужики с утра пораньше занимали места на «лыковской паперти». Теперь далеко не все просители смиренны, многие — особо бывшие фронтовики — крикливы, напористы, часто под хмельком, стучат кулаками в грудь, требуют: «За что кровь проливали?» Почти каждый идет с такой бедой, что отказывать в помощи просто совестно. А их много, для всех мил не будешь. Всесильный Лыков, распоряжающийся миллионами рублей, раз по десять в день выслушивал: «Сквалыга, свинья жирная, барип» или же — «Сердце у тебя, сатана, сохлось камушком!» Кто-то а Евлампий Лыков не заслужил того, чтобы переживать неприятности. Он от природы человек щедрый — душа параспашку. Все должны это видеть.

Но как сделать, чтоб зайку съест и шкурку на волосок не тронуть? Наверно, нельзя.

Лыков придумал. Нужен специальный человек, который бы принимал удары на себя. Специальный заместитель, верный, непробиваемый.

Тут-то подвернулся Валерий Чистых.

С рассвета на «паперти» просители. Каждый хотел бы встретиться не иначе как с самим Евлампием Никитичем: «Умру, а не встану, коль Евлампий Никитич не примет».

Пожалуйста, почему не принять. Теперь двери председательского кабинета распахивались даже легче, чем прежде; входи, мил человек, выкладывай, Евлампий Лыков — душа параспашку!

— Так, так, верно. Положение твое того... Надо бы хуже. А заявление где? — Евлампий Никитич не против тебе помочь, он добр, он щедр, он готов сделать все, что в его силах, он не просто сочувствует, а выводит на углу заявления размашистую резолюцию: «Тов. Чистых! Удовлетворить по возможности!» И кудрявый завиток с хвостиком, означающий без обману, что Евлампий Лыков свою руку приложил.

Проситель вцепляется в освященное самим Лыковым заявление, не нудит, не спорит, не отымает время, осыпает доброго председателя благодарностями, пог не чуя, летит с бумагой.

Лететь недалеко, в конец коридора. Там — комната-конурка с одним окном, не чета просторному, солидно обставленному кабинету Лыкова — едва умещается письменный стол, даже лишнего стула нет, не на что присесть просителю. За столом горбится узкоплечий, с уныло навешенной над бумагами зализанной головой новый зам Лыкова — Чистых Валерий Николаевич. Он без восторга читает размашистую, доброжелательную резолюцию председателя, кисло-вато объявляет:

— Не можем.

— К-как?! Сам Евлампий Никитич!..

— Не можем.

— Но тут же написано!..

— Тут написано: «По возможности». Евлампий Никитич, наверно, не знает, что сейчас таких возможностей не имеем.

— Как это он не знает?!

— Очень просто. У нас хозяйство громадное. Он все знать не обязан.

Крик, обида, слезы, но Чистых этим не прошибешь:

— Не можем.

Тряси кулаками, надрывайся стращай.

— Не можем!

С заявлением и с гневом нужда летит по коридору, обратно к доброму Евлампиию Никитичу. Так просто распахнулась дверь кабинета, так внимателен и участлив был знаменитый председатель!..

Но на этот раз секретарша Алька Студенкина телом заслоняет дверь:

— Вы уже были.

— На минутку... Тут безобразия сплошные!..

— Вас много, а Евлампий Никитич один. Смотрите, какая очередь.

Да, очередь. В ней ждут своего времени такие же, как и ты, изболевшиеся, исстрадавшиеся, как от Христа-спасителя, ожидающие помощи от Лыкова, мечтающие попасть в заветную дверь. Они с тобой особенно не церемонятся.

— Эй ты! Проваливай! Не маячь!

— Ловок! Им одним занимайся, а мы в стороне!

— Гнать его в шею!

Не знают эти крикуны, что через несколько минут будут так же рваться в эти двери во второй раз. Каждому из них Чистых кисло бросит:

— Не можем.

Лыковский заместитель Чистых и на самом деле — не может. Если б ему в голову пришла дикая мысль согласиться с резолюцией Лыкова, не обратить внимания — «по возможности», то заявление, сделав круг, попало бы на председательский стол. Тогда, как знать, Лыков, может, помог бы, но Чистых наверняка пришлось бы распрощаться с должностью. Такого на практике не случилось.

Для всех мил не будешь... Для обычных людей это верно. Как ни старайся, как ни жертвуй собой, а для кого-то все равно окажешься не милым, не красивым, с камушком вместо сердца. Для обычных, но не для Евлампия Лыкова. Оказывается, это «немилое» обличье, черствость, скупость можно, как грязную шашку, повесить на другого. Тот, другой, будет безобразен, а ты — пригож. Правда, надо быть очень влиятельным, чтобы отыскать такого, кто не тяготясь согласился бы повесить на себя то, чем брезгуешь сам.

Чистых хорошо платили и трудоднями и узаконенным почетом — введен в члены правления, ни от кого, кроме как от Лыкова, не зависим, кой-кто из простаков, особенно старухи, доверчиво дивились: «Эвоц, чудеса в решете. Видать, хваток, коль так скоро вошел в силушку. Нутка самому Евлампию перечит, с самим не считается».

Поначалу должность Чистых мыслилась — отваживай просителей со стороны. Но просителями-то были и свой брат, законные колхозники «Власти труда». Перед ними председателю еще больше хотелось выглядеть добрым и щедрым. Евлампий Лыков стал посылать к новому заму и своих, с теми же размашисто доброжелательными резолюциями на заявлениях.

— Нельзя! Не можем!

К Чистых копилась крутая ненависть — мало кто был им не обижен. Все ворчали: «Собака в кресле — не укусит, не облает, и тронуть не смей».

Но в праздник, особо по вечерам, Чистых уже выходил из дому с опаской — наткнешься еще на пьяного, а пьяному море по колено. Не раз по ночам кто-то разбивал камнями окна его дома.

И сейчас Чистых кричал на Ивана Ивановича:

— Что я для Евлампия Никитича по сравнению с вами? Моль! Уж кто-кто мог указать Евлампию Никитичу, то вы только. Много ли указывали? Часто ли за руку хватали? Да, не было этого! Чем вам передо мной гордиться? Чем, спрашиваю?!

Иван Иванович слушал, не перебивал: пожалуй, даже и хотел бы, да не возразишь — прав.

Впрочем, один раз он пытался повернуть Лыкова, Один раз всего...

ПАШКА ЖОРОВ И ДРУГИЕ

Стул бухгалтера — что пожарная вышка, с него все видно, особо если у тебя хорошее зрение. Евлампий Лыков крутился по хозяйству, ужом влезал во все щели, но он-то по земле ходил, потому его, земного, удивляло, что еще рот не успевает открыть, а Иван Слегов уже говорит за него нужное слово.

«Сначала было слово, слово было бог...» — не случайно сейчас в разговоре с Чистых вырвалось у старого бухгалтера. Когда-то эта почтенно древняя фраза шла через его жизнь немим припевом.

Он уже не помнит, что тогда его, безногого, занесло на строительство большого коровника, который и по сей день считается основной молочной фермой колхоза.

У околицы, на окраине унылого пустыря, где росли неопрятные ольховые кусты и жирный конский щавель, солнечно-желтый сруб запустил в голубое небо солнечные стропила. С одного конца по этим стропилам уже начали класть матовые листы шифера.

«Сначала было слово...» Год назад он, Иван Слегов, взялся за костыли, проковылял к шкафу, достал свои бухгалтерские книги и с помощью несложной арифметики, цифра к цифре, доказал Пийко Лыкову — нужно! Все в колхозе начинается с его слова.

Пийко Лыков когда-то перебил хребет и, должно, до сих пор свято верит — Ванька Слегов его раб по гроб жизни. Да, перебил, да, обезножил, привязал к стулу, от Пийко ни на шаг, но кто чей раб? Чье слово — бог?..

Рабочие ползали по стропилам, одевали их в шифер, новый материал, до сей поры неведомый деревне.

А напротив, оседлав крышу своей избенки, клевал молотком Пашка Жоров, на сгнившие драмки нашивал лат-

ки. Увидев подкостылявшего бухгалтера, он сполз пониже, выплюнул в ладонь гвозди.

— Наше вам почтеньице... Объясни ты мне, друг сердешный, по каким таким правам — мне жить под латаной крышей, а комолой Пеструхе под модной?

Пашка Жоров — лицо спеченное с кулачок, в рыжей, редкой щетине уже изрядная седина — балаболка в компании, крикун на собраниях, выдает на голос все, что кем-то сказано в полшепота, — своего не родит. И уж, конечно, этот Пашка вместе со всеми когда-то отвернулся от Ивана Слегова: «Что ты нам — в упор не видим».

Иван нехотя ответил ему:

— Ежели на корову сверху не будет капать, то в общий подойник погуще каннет. Не хитро, сам бы мог догадаться.

— Эхе-хе! Догадайся тут, кто из нас хозяин-барин? Сдается мне — корова барыня.

Пашка поскреб затылок, покряхтел и, выставив тощий зад, полез вверх стучать молотком.

Только это и сказал: «Корова — барыня». И ответа не стал ждать, повернулся костлявым задом, обтянутым худыми портками.

И стоял жаркий день, и тени, съезжившиеся, скупенькие, лежали под стенами изб, и сияли в небе солнечные строшила, и в синевае, чуть ли не под обжигаящим солншком, ходили кругами два ястреба, и по крыше на четвереньках полз Пашка Жоров, по крыше, иссушенной зноем, по шелухе покоробившихся дранок.

Вдруг все перевернулось в душе Ивана, стало жаль Пашку, впервые за много лет — зад тощий, портки спадают...

И себя неожиданно жаль...

Слово — бог. Твое слово! А портки-то у тебя, бог, не лучше Пашкиных. Ни себе, ни Пашке...

Иван костылял обратно к колхозной конторе по солнцепеку.

Поросята в изнеможении прятались в ненадежную тець под плетни, в небе важно, по-хозяйски, гуляли два ястреба. Дець как день, как вчера, как позавчера. И завтра будет, похоже, такой же.

Ни себе, ни Пашке. Собакой на сене и дальше жить?..

Шпарит солнце, затянулось ведро. Да, завтра день такой же.

День-то такой, но он, Иван, войдет в него новым.

Ни себе, ни Пашке. Корова — барыня...

Иван торопливо костылял к конторе.

Отодвинул в сторону все будничные бумаги, достал из шкафа приходо-расходные книги прошлых лет, уселся... Сидел до поздней ночи, подсчитывал, аккуратненько выписывал на листке цифры.

В позапрошлом году был получен такой-то доход. Куда он ушел?.. Колхоз съел. В прошлом — доход больше, колхоз его снова съел, почти целиком. В этом году... Колхоз пожирает, колхоз перемалывает, крутится жернов. Намололи достаточно, не пора ли Пашке Жорову сыпануть щедрей, нынче не прошлые «пиковые времена». Что скажешь на это, Евлампий Никитич? Цифры говорят. А цифры — вещь острая, на нее, как на рогатину, не лезь, наколешься!

Поздней ночью за ним пришла встревоженная жена.

— Иван. Я с ума схожу, а он, на-ко — дня не хватило, сидит себе и караули выводит.

Оторвался от бумаг, взглянул на жену ясными глазами. Взглянул, и сердце сжалось, пронзительно почувствовал, как далеко уплыли они оба от молодости, от тех лет, когда он, подбоченившись, покрикивал на лошадей: «Э-эх! Серы кролики!»

Она стояла перед ним прямая, высохшая, в углах поблекших губ глубокие складки, только брови по-прежнему густы, на плоской груди сложены натруженные руки, платок стянут под острым подбородком, в каждой черточке, в каждой морщинке — тревога и боль за него, уже привычные, уже не ранящие.

— Марусь... — выдавил с сипотцой, с горячим придыханием. — Ты думаешь, у нас с тобой все прошло, все кончилось?.. Марусь, в жизни, как в хороводе, рано ли поздно на прежнее ступаешь. Вот и я наново на старое ступил, только теперь тверже. Не молодой щенок, который на луну тьявкал — мол, допрыгну! Не-ет! Видишь это? — хлопнул широкой ладонью по густо исписанному листку.

— Чего еще? — голос ее был поникший от испуга.

— Ты гляди, любуйся! Тут мелочь — крючки, закорючки чернильные. Не-ет, тут разрыв-трава, что в сказках пишут. От такого вот реки вспять текут, моря из берегов выходят, ночь в день обращается...

— Сказочник ты у меня. Не обломали еще Сивку крутые горки... Идем домой, голубь.

— Э-эх, Марусь! Как тебе втолковать? Жмемся, ко-
пим, пухнем, но должно же это в конце концов прорваться.
Я первую прореху сделаю! Хлынет! Хлебай, люди, до-
сыта!

— Идем домой, Иванушка...

— Скушная ты стала, Марусь.

— Не скушная, Иван, толченая да ученая, а тебе нау-
ка все не впрок. Идем домой, золотко, за полночь, поди.

— Э-эх! — Иван с досадой стал прибираться на столе бу-
маги, исписанный листок бережно положил в карман. —
И вода плотины рвет. А тут годами текло, так не про-
рваться!.. Ничего ты понимать не хочешь!

— Дай-кось я тебе помогу встать... Вот и ладненько,
утро вечера мудренее. Завтра кому поумней расскажешь,
я-то бестолковая.

Над селом, до звона начищенная, висела луна, освещала
будничный, древний мусорок на пыльной дороге —
кочья сена и соломы, конский навоз. Он пружинисто пе-
рекидывал себя на костылях, топтал свою тень и говорил,
говорил, упиваясь силой своего голоса.

А она молчала, скуповато вышагивала, напряженно
прямая, иссушенно плоская, как монашенка.

Ее неверие не охлаждало. Он верил, верил — жизнь не
прожита, впереди еще добрый кусище, неожиданной гостьей
с черного крыльца постучала молодость.

А утром, чувствуя непривычную крепость в теле, как
всегда, добирался к конторе. В кармане вчетверо сложен-
ный листок. То-то сейчас оглушит им друга Евлампия.

У конторского крыльца случилось маленькое несчас-
тье: один из костылей, верно служивший Ивану с боль-
ничной койки, треснул и надломился. Иван чуть не упал
на цементные ступени. Поддержал его бригадир Череп-
нов, оказавшийся рядом:

— Грузнеть стал, Иван Иванович. Костыли-то при-
дется выстрогать поматерей.

Евлампий Никитич за столом, в тесном креслице, как
свежий пенек на пригорке — не думай выкорчевать. Над
плоской повытертой макушкой нависают сапожки вождя,
по обширной физиономии разлита парная краснота — под
полевым солнышком уже погулял и, видать, пропустил
стопочку за завтраком, поэтому благодушен и в голубых,
льняными цветочками глазках сонливость.

Иван положил перед ним листок.

Он положил перед ним листок с цифрами и долго, долго смотрел на склоненную крупную голову, на вытертую плешинку на макушке. Евлампий Лыков изучал, лица не было видно.

Наконец председатель поднял взгляд, нет, не сердитый, нет, не удивленный — настороженный и задумчиво ощупывающий.

Какое-то время молчали. Иван не рассчитывал, что дорогой друг Евлампий сразу же раскроет ему объятия.

Евлампий Лыков, не спуская ощупывающего взгляда, спросил:

— Значит, Ванька Слегов горой за народ?

— Если б я только... Сама жизнь поворот указывает.

— Ты — за! Ты — в ногу с жизнью! Я, выходит, поперек?

— Не советую.

Голубой холодный взгляд:

— Сколько лет тебя знаю, Иван. И ведь плотно... А спроси — что ты за человек? — убей, не пойму. Опасный, должно. Вроде медведя-шатуна. Не угадаешь — стороной обойдет или бросится кожу драть. Давно ли ты, Иван, на меня жал: стягивай ремешок — мужикам польза...

— Тогда-то ты не говорил — опасен, — заметил Иван.

— М-да-а. Ни с того ни с сего — коленце: коровы-де баре, мужик в опале. То стягивай, то распусти, как тебя понять? Против же себя выступаешь.

— Да, против себя.

Пристальный, пристальный взгляд голубых глазок.

— М-да. Опасен... Ну ладно, давай по существу, — Евлампий подвинул к себе листок: — Дома рушатся, надо новые... Крыши перекрыть чуть ли не по всему селу. Подсчитано — полмиллиона вынь да положь. А я возражу тебе — мало! Из каких расценок ты шиферу столько закупить собираешься? Я ведь особо-то не распространялся, что на коровник мы шифер достали как выбраковочный, уцененный. На такую удачу не рассчитывай, тряси мощной...

Евлампий Лыков начал считать, загибая короткие пальцы. Иван сам научил его хитрой хозяйственной арифметике.

— Видишь: к круглому миллиону подбираемся. Подари его мужикам. А коровник, что заквасили, оборудовать надо или нет? Забросить прикажешь? А птичник?.. Лес на него уже привезен. А картошка гниет, убытки терпим. Надо нам овощехранилище или нет?..

Сам учил Евлампия Лыкова, теперь пришло время признать:

— Способный ты ученик, Пийко.

— Спасибо на добром слове,— ответил Лыков.— Но уж коль это смекнул, то сообрази и дальше: нужен ли мне теперь в упряжке конь с норовом?

Голубые глаза в упор, каменные скулы, подозрительная недоверчивость в жестких губах. Знал, что сразу не раскроет объятия, готов был к этому, теперь почувствовал — бессилён. Возражай сколько угодно, но ведь цифрам не хочет верить, а словом уж и подавно не расколешь. «Сначала было слово, слово было бог...»

Но друг Евлампий всегда удивлял Ивана крутыми поворотами — неожиданно налился пьяным багрянцем, спросил бешеным срывающимся голосом:

— Глядишь: зачерствел Лыков, людей не жалеет?

— Чтоб жалеть, сила нужна,— уклончиво ответил Иван.

— Верно! Откуда у Пийко Лыкова сила, он же ее бережет, никому не показывает. Пашка Жоров простак, всю силушку в колхоз вкладывает. Он раньше меня встанет, позже ложится. И страдает Пашка больше моего... Как бы он в моей шкуре запел. У него, видишь ли, крыша худая, а у меня?.. Старый кулацкий пятистенок обжил — углы проседают, в щели дует. У моей бабы наряды богатые, я каждый день разносолы жру? Пашку жаль, меня не стоит жалеть. Я таковский! Да почему бы тебе на свой зад не поглядеть — штаны-то у тебя, бухгалтер, не лучше Пашкиных. Так что пусть пашки не обижаются — квиты с ними!

Иван молча потянулся к костылям и вспомнил — один-то сломан. «Грузнеть стал, Иван Иванович. Костыльки-то придется выстрогать поматерей».

Вечерами в доме Слеговых уютно: горит лампа под выцветшим абажуром, рваная тень от бахромы мирно лежит на стареньких обоях, топится печь, стреляют поленья. Печь летом протапливают по вечерам, так как Мария рано утром уходит на работу, тогда уж некогда возиться с горшками.

И в этот вечер, как всегда, только сама Мария ласковее, говорит, как поет колыбельную — хошь дремли, хошь слушай:

— Чего, голубь мой, расстраиваться-то? — радоваться надо. Сам же толковал — жизнь вроде хороводы водит. И уж не дай бог, чтоб она по-старому закружила, чтоб

снова тебе спину перебили. Спина-то у тебя, сокол, одна. Слава богу, что не закружилось, слава богу, что так бы-стренько оборвалось. Живы — и ладно...

У нее и на самом деле была тихая праздничность на лице — рада, что все идет, как шло, ничего нового не случилось.

Иван слушал, угрюмо смотрел в стол.

В доме — уют, трещит огонь в печи, пахнет щами. И жена ласкова, она всегда ласкова с ним — не продаст, не озлобится, редкий человек. Уютно в доме.

Живы — и ладно... Как-никак и это счастье.

Должно быть, разговор с бухгалтером все-таки не па-шутку растревожил Лыкова. Спустя неделю он с напо-ристой настойчивостью доказывал на правлении:

— Людей не ценим, дорогие товарищи. Колхоз-то наш растет и, так сказать, крепнет. А растет ли жизнь людей? У нас один-единственный главный бухгалтер. Чтим мы его? Скажете — да, чтим! Ой ли? Старые штаны наш бух-галтер донашивает третий год. Не замечали?..

Он тут же потребовал увеличить оплату Ивану Сле-гову. Ни себе, ни людям — Пеструхе комолой... Так пет же, чувствуй заботу, скидывай залатанные штаны, поку-пай новые.

Иван равнодушно принял подачку.

Война!

Она показала, как много Евлампий Лыков научился у Ивана Слегова и как притих, огрузнел сам Слегов.

Лыкову дали бронь — нужнейший специалист, не по-сылать же такого в окопы. Но самому колхозу — ника-ких поблажек. Ушли на фронт все мужчины, мобилизо-вали самых здоровых лошадей, увеличили поставки — сдавай, что положено с гектара, сдавай в фонд обороны, жертвуй на танковые колонны...

Лошадей-то мобилизовали, а на МТС теперь не надей-ся. Там остались только изношенные машины, опытные трактористы на фронте, их заменили девчонки и сопли-вые мальчишки.

В Петраковской снова принялись печь колобашки из куглины. По району уже разъезжали не одинокие толка-чи-заготовители, а целые бригады их, но и эти сплочен-ные бригады не могли достать не только сверхплановые поставки, но и законные, плановые.

В Вохровском районе насчитывалось сорок колхозов, из них добрая половина совсем «не тянула», а сам район кое-как «тянул», с натугой выполнял обязательства. За чей счет? Да за счет наиболее крепких колхозов, и в первую очередь за счет лыковского.

В предвоенные годы догоняли Лыкова молодые председатели — Кузьма Соколов, Василий Злобин, Василий Красавин — с дипломами агрономов, ученых зоотехников, с напором, с хваткой. Правда, Лыкова на прямой не обскачешь — хозяйство поразмашистей, связей побольше и авторитет покрепче.

Кузьму Соколова мобилизовали сразу, на второй день войны — лейтенант запаса с нужной военной специальностью. Колхоз без него захирел сразу. Злобин, перед тем как уйти в армию, рекомендовал в председатели свою жену, бабу самостоятельную, изворотливую, которая не хуже мужа тянула хозяйство. А вот Красавин на фронт не ушел — астма, — но колхоз не удержал, только сам сломался. Многие падали...

Отдай за петраковцев, отдай за доровищенцев, отдай за того, о ком знаешь понаслышке. С каждым годом «тянущих» колхозов становилось все меньше и меньше — надрывались. Казалось бы, должны надорваться и пожарцы.

Но нет.

Во всю силу заработала «лыковская паперть».

У села Пожары давняя слава — хлебный остров. Раньше сюда тянулись из соседних деревень, из города Вохрова, дальние не доходили. Теперь уж к лыковской паперти пролегли дороги от Москвы, от блокированного Ленинграда, от захваченных врагом Киева и Минска, даже от Одессы и Севастополя. Каждый эвакуированный сразу же узнавал — не столь далеко есть заветный хлебный остров. Такого паломничества к Лыкову не было и раньше.

Интеллигентные старики в мятых шляпах, женщины в рваных солдатских шинелях, в ватниках и сапогах, женщины с детьми, женщины одинокие, лица, изрытые горем, лица, отупевшие от несчастий, девушки, страдающие бледной немочью от недоедания, украинская и белорусская речь, библейские профили евреек. Все друг другу сродни, у всех одинаковое выражение усталой зависимости перед судьбой. А их судьба — невысокий, плотно сбитый человек с решительным наклоном крупной головы, с багровым загривочком, растущим из спины.